ВЛАДИМИР

ПОЗНЕР

НЕМЕЦКАЯ ТЕТРАДЬ

СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Когда мне было неполных пятнадцать лет, мой отец, горячий сторонник СССР, коммунист по убеждениям, хотя и не член партии, попал в черные списки и лишился источника заработка. Советское правительство предложило ему работу в берлинском отделении «Совэкспортфильма», мы уехали в Восточную Германию, то есть именно в ту страну, куда я ни за что ехать не хотел», – так начинает свою книгу о Германии Владимир Познер. Она – результат долгих раздумий автора о стране, о людях, с которыми ему довелось встретиться, о прошлом и настоящем и о том, что связывает и разделяет в настоящий момент Германию и Россию. Книга иллюстрирована фотографиями автора, за каждой из них прячется уникальная история, маленькая, но выразительная. Из таких историй, как пазл, складывается настоящая германская головоломка.

- Владимир Познер
  -
  - Объяснение
  - «Германская головоломка»
  - Татьяна Нидель
  - «17 июня 1953»
  - Сейгем Айгюн
  - Ханс Шеффер
  - Октоберфест
  - Крысолов
  - Макс Маннхаймер
  - Одноклассники
  - Памятник
  - Эрнст-Йорг фон Штудниц
  - Роланд Ян
  - Тило Саррацин
  - Лея Рошель
  - Дитер Грауманн
  - Бернхард Шлинк
  - Стена
  - Никлас Франк
  - Фитце
  - Йорг Метке
  - Бригитте Циприс
  - Ханс Бьерке
- notes

- ○ 1
- ○ 2

Владимир Познер
Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд

© Владимир Познер
© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Объяснение

Тот, кто пишет, знает, что такое «не пишется». Когда сидишь, уставившись в пустой лист бумаги – или электронный – и не выходит ничего. Тоска. Пытаешься выдавить из себя хоть какие-то слова, сложить их в более или менее приемлемый порядок, чтобы преодолеть чувство бессилия, но ничего не выдавливается или выдавливается такое, на что невозможно смотреть без отвращения.

Книжки, которые я написал вслед за документальными фильмами «Одноэтажная Америка», «Тур де Франс» и «Их Италия», писались необыкновенно легко, на одном дыхании. А потом всё остановилось. Резко. Как-будто в стремительно мчавшейся машине водитель ударил по тормозам. Только не было ни скрипа, ни скрежета, напротив, была полная тишина. Всё встало. Последовали фильмы «Германская головоломка», «Англия в общем и в частности», «Еврейское счастье», «В поисках Дон Кихота», фильмы, в которые были вложены переживания, порой даже страдания, размышления, и мне казалось, что всё это обязательно выплеснется в книги. Но…

Не писалось. Никак. Сколько раз ни садился к столу, столько раз я выходил из-за стола, не написав ни одного слова. Бывало, вдруг вдохновение, и вместе с ним возникало ощущение, что вот, наконец-то, всё вернулось, сейчас ка-а-к сяду, к-а-ак напишу! Звонил моему редактору Евгении Лариной с радостными новостями: ожидайте, скоро всё будет. Но как только я садился за письменный стол, то с огромным трудом выдавливал из себя одну, максимум две страницы, и на этом всё заканчивалось. И я принял решение больше не думать об этом, забыть. И стало легче. Никого больше не обманывал обещаниями вот-вот написать, но главное, перестал обманывать себя.

Правда, иногда тихий внутренний голосок противно ныл, стыдил меня, но безуспешно. «Всё, – думал я с облегчением, – всё, больше никаких книг не будет».

Совсем недавно я сидел у компьютера и смотрел фотографии. Их у меня великое множество, поскольку я страстный фотограф-любитель, и когда я отправляюсь на съёмки фильма, то всегда беру с собой две, а то и три камеры. И снимаю. Портреты тех, у кого беру интервью, разные виды, разные городские уголки. И вот я листал папку с названием «Германская головоломка», смотрел на эти лица и пейзажи, снятые мною несколько лет тому назад, вспоминал всё это… и вдруг подумал, что можно было написать книжку о том, какие эти фотографии навевают мысли… Нет, не

точно, не подумал, а захотелось написать такую книжку.

Вот что получилось.

«Германская головоломка»

Я этот фильм снимать не хотел. Потому что боялся. Это просто сказать и куда как сложнее объяснить. Есть страх понятный, в разъяснениях не нуждающийся. Например, я боюсь акул. Боюсь – и всё тут. Это разве надо объяснять? А боязнь делать фильм о Германии…

Я с самого детства ненавидел немцев. Это чувство внушил мне мой отец во время Второй мировой войны. Я войну помню: как в Париже меня сажал на плечи мой дядя Роже, чтобы спуститься в бомбоубежище во время налетов; как парадным шагом шли по Елисейским Полям немецкие войска и как, глядя на них, плакали французы, стоявшие вдоль тротуара; как наша семья по подложным документам сумела попасть в «Свободную зону» Франции, в Марсель, и оттуда через Испанию и Португалию, прихватив с собой мою «няню», девятнадцатилетнюю еврейку (ее родители дали моему отцу необходимую сумму денег, чтобы подкупить гестапо и получить выездные документы, при условии, что мы возьмем их дочь с собой). И еще я помню детство в Нью-Йорке и рассказы о немецких зверствах, которые потом получили реальное подтверждение, когда папа показал мне документальные ленты, снятые немцами в концлагерях – снятые тщательно и подробно с известной всему миру немецкой аккуратностью. И помню еще о том, как папа рассказал мне, что его ближайшего друга, Вову Бараша, немцы отправили в Аушвиц в газовую камеру, а его собственного отца, моего дедушку, которого я так и не увидел никогда, кроме как на фотографии – стоит такой исключительно модно, даже чуть франтовато одетый мужчина, от которого веет тонким запахом туалетной воды, немцы расстреляли лишь за то, что его фамилия была Познер. Всё это и множество других вещей сформировали моё отношение к немцам – не только к Гитлеру с компанией, не только к нацистам, ко всем до самого последнего.

Когда мне было неполных пятнадцать лет, мой отец, горячий сторонник СССР, коммунист по убеждениям, хотя и не член партии, потерял свою высокооплачиваемую работу в американской кинокомпании MGM, потерял из-за того, что не захотел сдать свой советский паспорт в обмен на американский; когда он попал в черные списки и лишился источника заработка; когда французские власти отказали ему в визе, таким образом практически закрыв не только ему, но моей маме, мне и брату возвращение во Францию; когда, наконец, советское правительство предложило ему работу в берлинском отделении

«Совэкспортфильма», мы уехали в Восточную Германию, то есть именно в ту страну, которую я ненавидел и куда ни за что ехать не хотел.

Невозможно передать разницу между ярким, полным обещаний, бесподобным Нью-Йорком и Берлином – полуразрушенным, серым, кисло пахнувшим запахом некачественного бурого угля, которым немцы топили свои жилища. В Нью-Йорке я чувствовал себя дома, это был мой город, я знал его как свои пять пальцев, я болел за королей бейсбола «Нью-Йорк Янкиз», я был абсолютно, несомненно, категорически стопроцентным нью-йоркским мальчиком, я был «своим». А в Берлине? В Берлине я был совершенно чужим: не мой город, не мои люди, и что вообще невыносимо, меня там принимали за немца, поскольку я ни слова не знал по-русски. Странное дело, я не помню, чтобы я тогда страдал, но, вспоминая сейчас прожитые там четыре года, я испытываю острое чувство жалости к тому американскому подростку, юность которого прошла в глубоко чуждой и ненавистной ему среде. Я знаю, что эти четыре года изменили меня – и физически, и психически. Я был 180 сантиметров роста, когда мы покинули Нью-Йорк. Попав в этот скудно снабжаемый Берлин, я перестал расти; думаю, я не добрал сантиметров 5–7 того, что предполагала природа. А из беззаботного, открытого, лишенного комплексов мальчика я превратился в… хамелеона, я чувствовал необходимость «менять краску», делаться похожим на других, чтобы меня не считали чужим, а принимали за своего. Как же это было мучительно трудно! Прошло не одно десятилетие прежде, чем я избавился от этого почти условного рефлекса, когда я перестал пытаться встраиваться, когда смог сказать себе – а, значит, всем: нет, я не такой, как вы, не лучше и не хуже, но не такой, и мне совершенно всё равно, как вы относитесь к этому, потому что для меня самое главное – это чувствовать себя хорошо в собственной шкуре.

Порой мне кажется, что Германия мне мстит за то, что я так не люблю её. Бред? Конечно, но именно в Германию эмигрировала моя дочь, увезя с собой мою внучку Машу и невольно тем самым лишив меня возможности участвовать в её воспитании. Там, в Германии, родился мой внук Коля, и именно эта страна пролегла между нами. Сколько бы я смог дать им, если бы они росли рядом!.. Что до моего правнука Валентина, которому сейчас три года, то я для него в какой-то мере мифологическая фигура, которая приобретает реальные очертания два-три раза в год, когда я приезжаю в Берлин на несколько дней или когда он с родителями приезжает в Москву на Рождество.

При чем тут Германия? Разве было бы иначе, если бы моя дочь уехала во Францию? Или в Америку, куда приезжать было бы еще труднее? Правильный вопрос, логичный, но не ждите от меня логики, потому что речь идёт о чувствах, а чувства к логике отношения не имеют. Всё, что я рассказал, – это попытка объяснить вам, читателям, почему я боялся делать фильм о Германии. Я опасался того, что мои личные счеты со страной «трех Б» – Баха, Бетховена и Брамса, но и «трех Г» – Гитлера, Гебельса и Геринга – не позволят мне быть объективным, что я не смогу справиться со своими пристрастиями.

Опасался не напрасно. Посмотрев фильм заново, я должен был признаться себе в том, что моя неприязнь к Германии и к немцам то и дело давала знать о себе. Я старался быть непредвзятым, “evenhanded”, как говорят американцы. Не получилось. И теперь, вспоминая ту поездку по фотографиям некоторых ее «героев», боюсь того, что это случится вновь, что опять не удержусь и из меня, как из разбуженного вулкана, вырвется кипящая лава нелюбви. Постараюсь удержать её. Очень постараюсь. А что получится, то и получится.

И последнее: в том, как размещены эти фотографии и связанные с ними размышления, нет ни хронологии, ни связи. Хотя, может быть, какая-то связь есть – не совсем, как, например, в пазле, потому что здесь каждое фото значимо само по себе (в отличие от кусочков головоломки), но и как в пазле потому, что все фото и связанные с ними размышления, собранные вместе, составляют, как мне кажется, единую картину.

Татьяна Нидель

Город Цербст – можно бы даже сказать городок – не имел бы значения ни для кого, за исключением разве живущих в нем граждан, если бы не два обстоятельства. Первое известно немногим, но достойно упоминания. В ночь с 14 на 15 апреля 1945 года, за две недели до капитуляции фашистской Германии, ВВС США разбомбили Цербст в пух и прах, а точнее, уничтожили его на восемьдесят процентов. В этом не было ни малейшей надобности. В Цербсте не было никакой военной промышленности, не было гарнизонов, не было солдат. Зачем бомбить? Как сказала мне одна дама, союзники торопились нанести как можно более тяжелый урон той части Германии, которой предстояло стать зоной советской оккупации, и Цербст просто попал под их общую «раздачу». Ни о каких таких намерениях союзников я не слышал и не склонен доверять подобным разговорам, но факт остаётся фактом: городок, не имевший никакого военно-стратегического значения, стерли с лица земли буквально накануне конца войны, и этому нет ни объяснения, ни оправдания.

Второе обстоятельство куда важней: первые пятнадцать лет своей жизни (не считая первых после своего рождения месяцев) провела здесь София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Она жила-поживала во дворце, пока совершенно неожиданно не была тайно вывезена в Россию по требованию императрицы Елизаветы Петровны, желавшей выдать её за своего племянника, сына Анны Петровны, внука Петра I, Карла Петера Ульриха, которого за три года до этого привезли из немецкого Киля в Санкт-Петербург.

Несчастному Карлу Петеру предстояло стать императором Петром III Фёдоровичем. Несчастному, потому что его ждала жестокая смерть от рук участников дворцового переворота, организованного его супругой, той самой Софией Августой, ставшей по приезде в России Екатериной Алексеевной, а после заказанного ею убийства мужа императрицей Екатериной II.

Вот таким причудливым образом русская романовская кровь была обогащена (или разбавлена?) кровью немецкой.

Я часто задумывался над тем, сыграло ли это обстоятельство роль в судьбе России? Повлияла ли немецкая «прививка» и если повлияла, то как?

«Что русскому хорошо, то немцу смерть» – эти слова приписывают Александру Суворову, и если он и в самом деле автор этой истины, не удивительно, что Екатерина не слишком жаловала его. Если фельдмаршал был прав, то соединение этих

двух кровей должно было привести либо к смерти, либо к рождению чего-то невиданного. И привело: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…»

Но я отвлекся.

Хоть и покинула Цербст будущая Екатерина Великая еще подростком и никогда туда не возвращалась, дух ее продолжает витать над городом. О ней напоминает полуразрушенный бомбежкой дворец, где проживала будущая русская императрица. Напоминает о нем и Татьяна Нидель.

Вглядитесь в эту фотографию. Это она, Татьяна Нидель. Харьковчанка, которая занималась германистикой и приехала в университет города Магдебурга, чтобы написать там и защитить диссертацию. Там, в Магдебурге, встретила Фредди Нинделя, вышла за него замуж и осталась жить в Цербсте.

При чем тут Екатерина II? – спросите вы. Чуть потерпите. Дело в том, что в Цербсте давно существует Общество Екатерины II. Возглавляла его преподаватель русского и немецкого языков Аннегрет Майнцер, женщина ничем не выдающаяся, живущая в такой же «хрущёвке», какие сейчас стали в Москве сносить. Маленькая двухкомнатная квартира, маленькая кухонька, маленькая пятидесятилетняя женщина, говорящая по-русски с сильным акцентом, но почти без ошибок, родившаяся и прожившая всю жизнь в ГДР. Говорит тихим, спокойным голосом, смотрит в глаза, почти приятное лицо – почти, потому что чуть искривлён рот, может быть, поврежден тройничный нерв.

Была, как и все её сверстницы, членом Союза свободной немецкой молодёжи (гедеэровского эквивалента комсомола), свято верила в сказку о социализме, пока в один прекрасный день не сообщили, что сказка кончилась.

– Если бы из ГДР можно было ездить в разные страны, – говорит Аннегрет, – если бы режим был с человеческим лицом, меня это полностью устроило бы.

О Екатерине II и об истории России того периода знает всё. Стала членом общества имени российской императрицы при его создании двадцать лет назад, через десять лет возглавила его, но совсем недавно уступила этот пост Татьяне Нидель – когда она говорит об этом, в голосе слышатся (или так мне кажется) нотки сожаления.

Под впечатлением встречи с Аннегрет Майнцер я полагал, что новый председатель Общества Екатерины II будет чем-то на нее похожа, например, спокойствием, сдержанностью. Можете себе представить, какой шок я испытал, когда мне навстречу выпорхнуло блондинистое существо в розовом атласном платье, в розовых же туфлях на высоких ярко-желтых каблуках и в губной

помаде того же оттенка, что и платье. Но если у вас мелькнула мысль «кокетливая профурсетка», как мелькнула у меня, то советую немедленно отказаться от неё. За легкомысленным фасадом скрывается жесткий, целеустремленный ум, не терпящий возражений и не знающий сомнений. И если вам придет в голову мысль, что я описываю саму Екатерину II, то вы будете недалеки от истины: мило улыбаясь, Татьяна Нидель говорит в шутку, что она – реинкарнация великой Екатерины, а в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

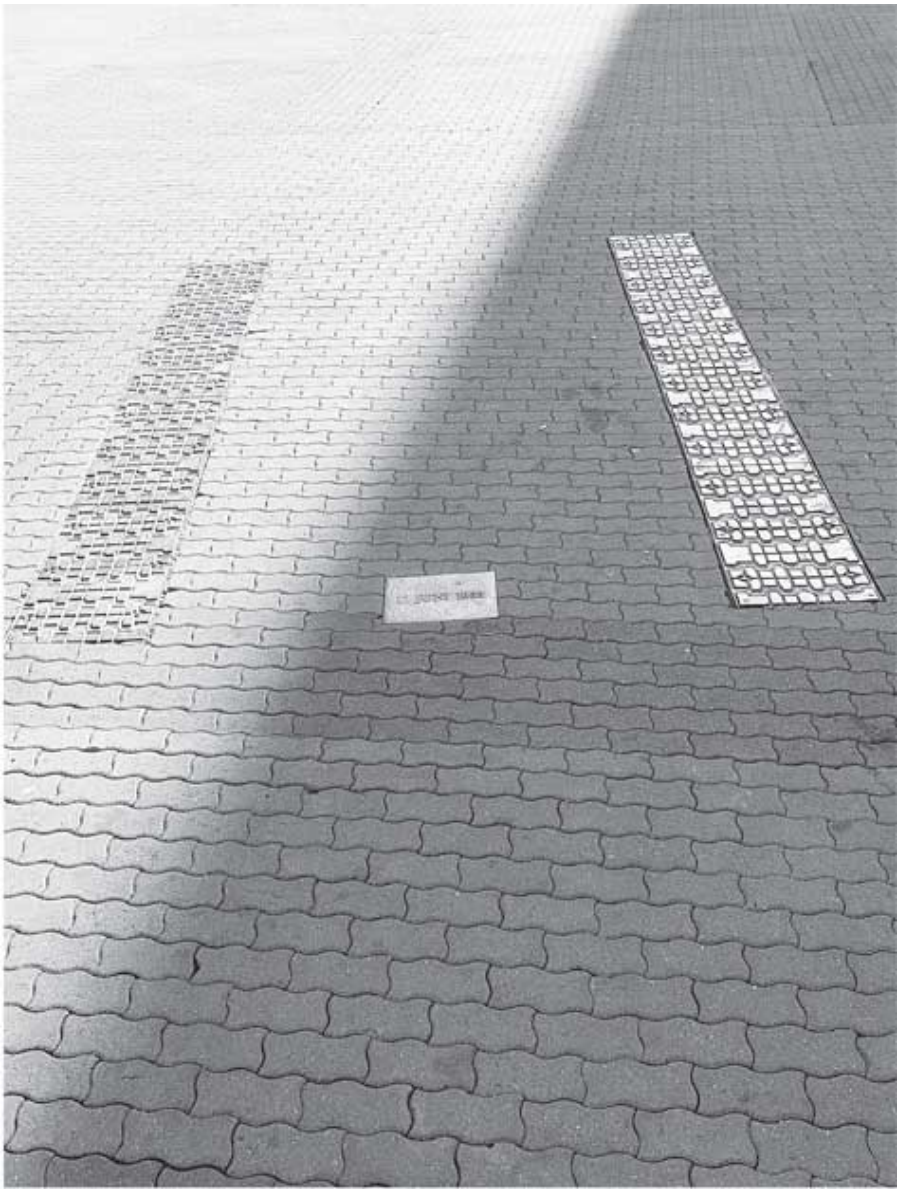
Татьяна добивается (и, уверен, добьётся) восстановления дворца, в котором она регулярно устраивает костюмированные балы. Она выходит к гостям в одеждах императрицы под руку со своим Фредди, на котором пышный парик и богатые одеяния сидят как на корове седло. Но он давно примирился с мыслью, что в него не вселилась ни душа Орлова, ни Потемкина и что сопротивление не только бессмысленно, но и опасно.

И вот они идут рука о руку в свете горящих свечей, она – мило кивая своим «подданным», и он – нелепо вышагивая рядом. Россия и Германия? Татьяна, пристально глядя на меня совершенно синими глазами, говорит: «Екатерина была лучшим из всех российских монархов. Именно при ней Россия добилась признания и достигла величия. Русский характер нуждается в немецкой прививке, и Россия должна быть признательна Германии за этот подарок».

«17 июня 1953»

В Лейпциге, на площади, почти точно напротив гостиницы «Штайгенбергер» и недалеко от церкви Святого Николая, в одну из плит площади вбита небольшая металлическая квадратная плашка, на которой выведено «17 Juni 1953» («17 июня 1953»). Справа и слева от неё проходит то, что может показаться декоративными узорами. Но при ближайшем рассмотрении опытный глаз определит, что никакой это не узор, а изображение следа гусениц танка.

17 июня 1953 года в знак протеста против режима на улицы Берлина вышли сорок тысяч человек; тысячи людей – в других городах Германской Демократической Республики, в частности, в Лейпциге. В разгоне демонстрантов, помимо Вооруженных сил ГДР, приняли участие и советские войска, в том числе и танки. Крови было много. Очень много.



Прошло 36 лет, и здесь, в четырёхстах метрах от этого памятника, из Николайкирхе вышли тысячи людей – они вышли из церкви во главе с пастором Кристианом Фьюрером, держа в руках зажженные свечи, и встали. Стояли молча, без лозунгов, протестуя против режима. Их окружили войска, из громкоговорителей приказывали им разойтись по домам. Они не расходились, они продолжали стоять, молча, не оказывая сопротивления. И войска отступили. То, что началось 17 июня 1953 года, завершилось 7 октября 1989 года, ровно за месяц до падения Берлинской стены.

Я стоял на площади рядом со вбитым в плиты площади напоминанием и спрашивал проходящих мимо, знают ли они, что означают эта плашка и узоры, что такое случилось 17 июня 1953 года? В ответ некоторые отворачивались и ускоряли шаг. Другие пожимали плечами. Совсем немногие отвечали: «Была какая-то заваруха…»

Потом я спрашивал, знают ли они, кто такой был пастор Кристиан Фьюрер? Не знал никто. Я не стал спрашивать, хотя очень хотелось, знакомо ли им имя пастора Мартина Нимёллера.

Не стал спрашивать, потому что не сомневался в том, что снова я увижу пожимание плеч. И тогда я счёл бы себя обязанным рассказать о том, что Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёллер родился в Германской империи в 1892 году в семье протестантского пастора. Во время Первой мировой войны он был офицером военно-морского флота, командиром подводной лодки, за потопленные корабли противника был награжден орденом «Железный крест». После войны Нимёллер пошел по стопам отца и стал священником. Будучи националистом и ярым антикоммунистом, он вступил в НСДАП и приветствовал приход к власти Гитлера. Но вскоре пожалел об этом: нацисты рассматривали Церковь, в особенности протестантских пасторов, как врагов режима. В 1938 году Нимёллер был арестован и отправлен в концлагерь – сначала в Заксенхаузен, потом в Дахау. Он выжил – его освободили американские войска. Он знаменит своим высказыванием об ответственности. Оно звучит так:

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.

Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.

Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.

А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто мог бы протестовать».

С этими словами перекликается отрывок из проповеди английского поэта XVII века Джона Донна: «Человек не остров, целый сам по себе; каждый человек – часть континента, часть целого; если море смывает даже комок земли, то Европа становится меньше, как если бы был смыт целый мыс или дом твоих друзей, или твой собственный дом. Смерть каждого человека уменьшает меня, потому что я – часть человечества, и потому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Мы, люди, пока так и не усвоили этот урок. Могут людей давить танками, могут травить их в газовых камерах, нас это не касается. Точнее, касается только тогда, когда речь идет о близких. А так – нет. Не выходим на улицу по этому поводу, не протестуем. Потому что… что? Лень? Страшно? Не трогает? Не волнует?

Что случилось 17 июня 1953 года? Кто такой пастор Кристиан Фьюрер? Что сказал Мартин Нимёллер?

Да кто его знает…

Сейгем Айгюн

Я хотел назвать эту главку «Турецкий гамбит», но не стал, опасаясь, что меня обвинят в плагиате. Но название это было бы точным. Ведь гамбит – это некоторая жертва, некоторый риск, который совершается, чтобы получить стратегическое преимущество. Приглашение турецких рабочих в ФРГ в начале шестидесятых годов было, конечно, рискованным.

Подписав осенью 1961 года соглашение с Турцией, германское руководство исходило из того, что молодые и холостые (одно из условий соглашения) турки проработают два года, потом вернутся к себе домой, а на смену им приедут новые молодые холостяки, и так далее, что будет способствовать развитию так называемого «немецкого экономического чуда». Возвращать уже хорошо обученных турок на родину и получить взамен такое же количество необученных оказалось делом накладным. Поэтому приняли решение, позволяющее оставаться в ФРГ не два, а четыре года. Но позвольте, это как? Молодые горячие турки четыре года без семьи, без права жениться – что соответствовало положению соглашения – это не только негуманно, это, извините, нереально.

Ну, что ж, решило немецкое руководство, – пусть привозят свои семьи, а если нет семьи – пусть женятся здесь и постепенно вливаются в нашу Германию точно так, как в своё время иммигранты вливались в американский «плавильный котел». Это была принципиальная ошибка. Совершившие её не подумали о том, что в Америке не было никакой титульной нации (если, конечно, не считать не связанных между собой индейских племен), иммигрантами были абсолютно все. Это во-первых. Во-вторых, все приехавшие до поры до времени были представителями европейской культуры, одной, если говорить

расширенно, иудейско-христианской религии, и это их объединяло. Ничто не мешало тому, чтобы, попав в «плавильный котел», они выходили из него дотоле не существовавшей нацией – американцами. (Необходимо уточнить: когда во второй половине XX века в США резко увеличилось количество иммигрантов из Африки и Азии, «плавильный котел» превратился в «салатницу», в которой все вроде бы вместе, но каждый кусочек сам по себе.)

Другое дело – ФРГ. Там была титульная нация – немцы, и приехавшие должны были, как предполагали иные, превратиться в немцев. Пусть не сразу, но через поколение-другое. Но этому препятствовали два фактора: приехавшие были все из одной страны и их было очень много, но что еще важнее – они были не только представителями совершенно другой культуры, но и исторически враждебной религии.

Образовалось то, что можно назвать турецким анклавом в Германии. Сегодня это – около четырех миллионов выходцев из Турции, живущих в разных городах Германии по своим традициям и не проявляющим какого-либо стремления к интеграции. Да, есть исключения. Есть смешанные браки. Есть даже двойные свадьбы, когда одну и ту же свадьбу играют и по немецким обычаям, и по турецким. Но сути дела это не меняет.

На родину турки не уезжают по очевидной причине: в Германии им живется лучше. Сейгем Айгюн – тому пример. Он приехал в Германию лет сорок тому назад, приехал из бедной, отсталой турецкой деревушки, еле-еле умел писать и читать на родном языке, не говоря о немецком. Умеет ли он писать и читать сегодня, я не знаю, хотя убедился, что очень плохо говорит по-немецки. Когда я спросил его, почему он так и не выучил немецкий язык, он ответил: «А нас никто не учил. Привезли, чтобы вкалывали, вот и вкалывали на заводе по 16 часов в сутки. До общежития доберешься после этого – только спать мечтаешь. Какой там язык! Зато моя дочь говорит, как немка, да еще и по-английски умеет».

Айгюн преуспел. Он – владелец семи ресторанов «Хасир», двух гостиниц «Титаник» в Берлине и ряда гостиниц как в Германии, так и в Турции. Когда я спрашиваю, благодарен ли он Германии, чувствует ли, что он ей должен, от скалится и говорит:

– А, собственно, за что? Это Германия должна быть благодарна нам. Мы привезли вкусную еду, которой не было в этой стране, мы своим трудом подняли её.

Как он отреагирует, если одна из его трех дочерей захочет выйти замуж за немца? Он посмотрел на меня, прищурившись, недобрым взглядом.

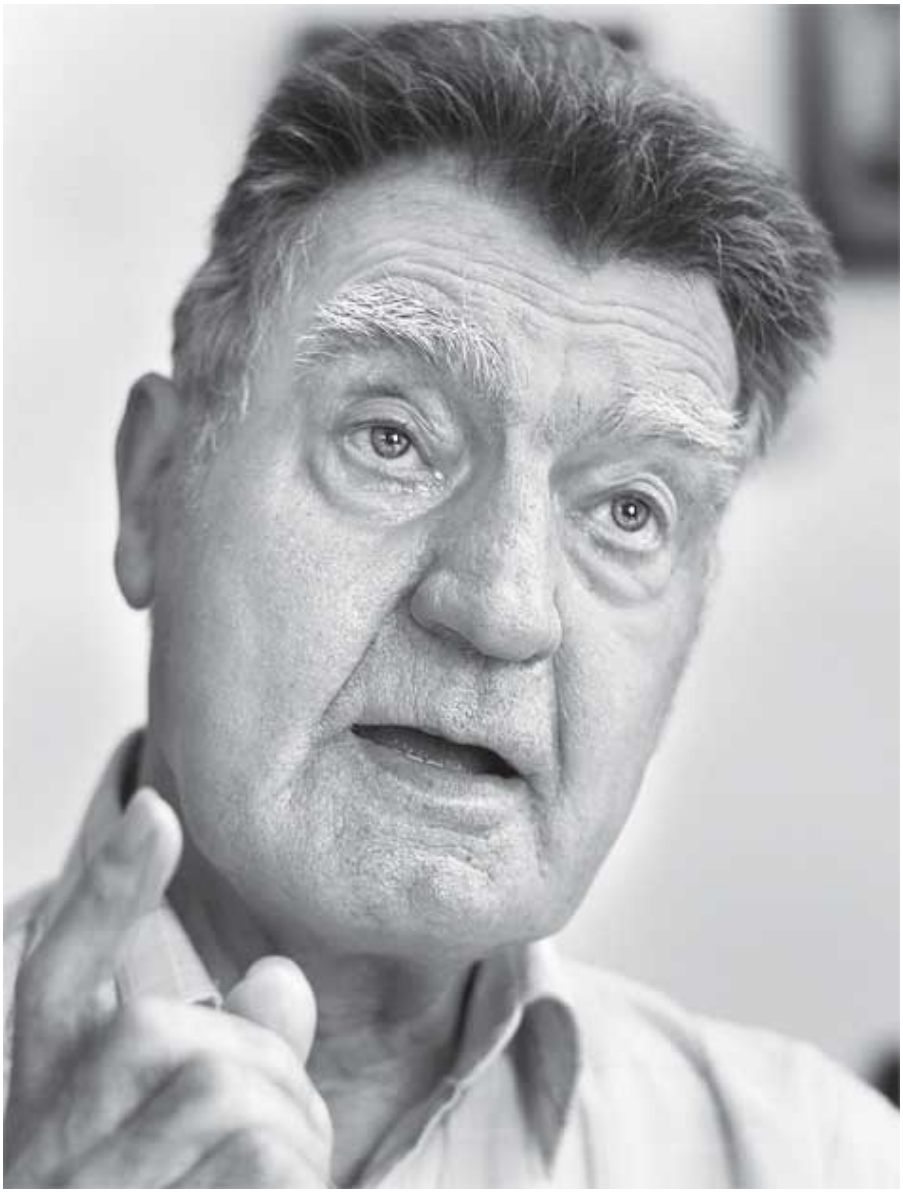
– Мне всё равно. Лишь бы любили друг друга.

Верится не очень.

Как и в то, что люди другой культуры, другой веры, другой расы, другой истории могут интегрироваться в другую страну без особых усилий, даже сказал бы – без намерения страны, их принимающей, добиться их интеграции.

Ханс Шеффер

Он меня принял в своей малюсенькой квартире, расположенной в гедеэровской «хрущевке» в Восточном Берлине. Ему было 81 год, он на три года старше меня. В квартире царит идеальный и строгий порядок – да и хозяин строг, он смотрит на меня холодно, не улыбаясь, говорит коротко, скупо, будто забивает каждым словом гвоздь. Зовут его Ханс Шеффер, он – полковник в отставке более не существующих Вооруженных сил Германской Демократической Республики.



Меня к этому человеку привели две фотографии. На одной, относящейся к октябрю 1961 года, заложив руки за спину и расставив ноги в позе, сильно напоминающей нацистских военных, стоит офицер. Справа от него видны советские танки, а метрах в трехстах, впереди – танки американские. Этот эпизод относится к шестнадцатичасовому противостоянию танков двух сверхдержав у «Чекпойнт Чарли»[1]. Мало кто помнит об этом, но тогда мир стоял на грани новой войны: достаточно было бы одному из командиров приказать выстрелить.

Другая фотография (стр.35) была снята 17 августа 1962 года.

На ней офицер что-то приказывает солдатам, которые держат тело раненого Петера Фехтера, пытавшегося бежать из Восточного Берлина в Западный. По пути в больницу он умер от потери крови.

На обеих фотографиях один и тот же офицер – Ханс Шеффер.

Правда, он тогда не был полковником, но офицером-то он был, и меня интересовало, как он теперь оценивает свои тогдашние поступки, не жалеет ли о чем-либо, как спится ему по ночам. Как мне кажется, если бы эти события происходили в другой стране, если бы я имел дело не с немцем, ответы был бы иными. Не могу сказать, какими именно, но более, что ли, «круглыми», более оправдательными. А полковник в отставке, точнее, немецкий полковник в отставке, ответил вот что: «Я гражданин ГДР. Западные мне не друзья. Ни о чем не жалею. Честно и до конца выполнил свой солдатский долг».

Ответ меня ошарашил своей жесткой, даже жестокой честностью. Ни малейшей попытки что-то приукрасить, никакого притворства. Потом, разговаривая с немцами в разных районах Германии, я снова и снова наталкивался на то, что стал для себя называть немецкой правдой. Когда мы начинаем перечислять «немецкие черты», непременно говорим об аккуратности, точности, законопослушанию, чинопочитании. Я добавил бы склонность говорить обнаженную правду. Это не значит, что немцы не врут. Врут все. Но не всем свойственно так беспощадно, без прикрас, без тени оправдания говорить о себе правду.

В данном случае – и случай этот важный – человек говорил правду, ни минуты не сомневаясь, что он поступал по-солдатски честно, а значит правильно. У него не возник вопрос, несет ли солдат ответственность за выполнение приказа своего командира.

Ответ очевиден: нет, не несет. Ведь ни одна армия не может существовать без принципа «приказы не обсуждают, приказы выполняют». У Шеффера, пограничника, отвечавшего за соблюдение порядка у Берлинской стены, был приказ: любого человека, пытающегося бежать, перебраться через стену, остановить – сначала окриком, потом, если беглец не подчинится, стрельбой на поражение. Ведь стена в данном случае – государственная граница, а во всем мире нелегальный переход границы наказывается, в частности, таким образом. Так-то оно так, но Берлинская стена – граница особого рода, она была установлена произвольно, к тому же не с целью препятствовать её переходу гражданам чужих стран, а гражданам своим собственным. Её строительство пресекало свободное передвижение граждан ГДР, её законность сомнительна. Приказ стрелять по своим вызывает вопросы.

Наступает ли момент, когда выполнение приказа становится преступным? Принципы, выработанные на Нюрнбергском процессе, говорят: да, безусловно. Ведь в Нюрнберге судили, осудили и казнили не только руководителей Третьего рейха, но и многих других, среди которых были судьи, врачи, бюрократы и, конечно, военные. Можно ли требовать, чтобы человек в форме (да и не только в форме) задумывался над приказом, чтобы его представления о добре и зле были важнее приказа? Я не раз говорил о том, что я атеист, но если допустить, что когда-нибудь наступит Судный день, что скажет Бог Хансу Шефферу? Да и не только ему…

Как вы думаете?

Октоберфест

Посмотрев еще раз на фотографии, относящиеся к этой теме, я понял с большим сожалением, что, помести я даже несколько десятков этих фото, я бы всё равно не смог передать вам истинный дух того, о чем хочу говорить. Всё-таки, нарушая собственный принцип «одна главка – одна фотография», я здесь выбрал три в надежде, что они хоть как-то дадут вам почувствовать то, что происходит здесь с 1812 года, когда весь Мюнхен праздновал свадьбу принца Людвига (будущего короля Людвига I Баварского) и принцессы Терезы Саксен-Хильдбургхаузенской. Мне хотелось, чтобы вы услышали барабанную дробь, звуки труб марширующих оркестров, мне хотелось, чтобы вы ощущали запахи пива, жареных цыплят, сосисок, салатов и, конечно, пота. Мне хотелось, чтобы вы оглохли от оркестров и пения десяти тысяч глоток, мне хотелось, чтобы вы, закрыв глаза, представили себе всё это. А «всё это» – это вот что…

Ежегодно с середины сентября до первых чисел октября в Мюнхене проходит народное гулянье Октоберфест («Октябрьский праздник»). В нем принимают участие порядка шести миллионов человек. Их главное занятие – пить пиво, производимое исключительно мюнхенскими пивоварнями в соответствии с мюнхенским законом о чистоте пива 1487 года и немецким законом о чистоте пива 1516 года. За две недели этого гулянья в среднем выпивается 6 миллионов литров пива, съедается 500 тысяч жареных кур (помимо огромных кренделей, белых баварских сосисок, картофельного и капустного салатов, свиных окороков, зажаренных на вертеле быков и запеченных на палочке рыб). Всё это происходит в 14 больших палатках, вмещающих до 10 тысяч человек каждая, и 15 малых на несколько сот посетителей. В каждой палатке на эстраде играет свой оркестр, музыка которого сопровождается многотысячным хором посетителей, во всё горло орущих народные песни. Люди эти почти все одеты в баварские национальные костюмы, так называемые «трахтене» (это может быть как для мужчин, так и для женщин). У мужчин костюм состоит из кожаных коротких штанов – (ледерхозен), рубашки, жилета, сюртука, белых до колен носков, черных на толстой подошве ботинок и шляпы с перьями. Женский костюм называется «дирндль» и состоит из пышкой юбки, весьма открытой блузки, нечто вроде корсета на шнурах, и фартука. То, где расположен бант завязок фартука, принципиально важно: если слева, значит дама свободна, если

справа – замужем, если спереди посередине – девица, если сзади посередине – вдова.

На мой взгляд, пузатые, усатые и часто кривоногие мужчины выглядят комично в своих кожаных шортах. Женщины, напротив – довольно соблазнительно. Замечу, что нигде в Германии так активно не носят народные костюмы, как в Баварии, где зачастую в таком наряде приходят на работу.

Но это я пишу лишь для справки, собираясь с силами, чтобы передать вам то, что я чувствовал, сидя в одной из больших палаток за столом, удобно расположенном на втором ярусе, откуда видна была вся эта масса тонущих в песнях, криках, плясках и, конечно, пиве людей.

Поначалу мне было любопытно, но постепенно, по мере того как гул нарастал, как количество выпитого пива делало своё дело, как степенные баварские бюргеры превращались в какое-то тысячеглавое чудовище, мне становилось сначала неуютно, потом не по себе, а в какой-то момент в голове зазвучала тема «полета Валькирий». Вообще, глядя на происходящее, я много думал о Рихарде Штраусе, к которому я отношусь приблизительно так же, как к Достоевскому. Оба они гении, оба они понимали свой народ как никто другой.

Я часто задаюсь вопросом, схожи ли русские и немцы? Как будто нет. Но с другой стороны, именно немка была чуть ли не самой выдающейся правительницей России, да и в жилах многих Романовых текло немало немецкой крови. Наверное, можно найти схожие черты при сравнении почти любых двух народов, но, наблюдая за разгулом на Октоберфесте, я попытался представить, могло ли такое состояться в России. Думаю, могло бы, но с одной существенной разницей. Я провел на Октоберфесте один полный день, и это был день его закрытия, то есть день особый; с Октоберфестом прощались, можно сказать, яростно, со

стрельбой из пушек и старинных пистолетов. Замечу, что стреляли и мужчины, и женщины, стреляли умело, методично и ловко перезаряжая свое антикварное оружие, стреляли, я сказал бы, с удовольствием. Так вот, за весь этот день я увидел тысячи пьяных людей, но не увидел ни одной драки.

Но почему-то мне было страшно.

Крысолов

Норберт Майер – рыбак. Рыбаком был его отец. Рыбаком был его дед. Рыбаком был его прадед. Все они ловили рыбу и угрей в реке Везере, на берегу которой расположился город Гамельн. Рассказывает он мне об этом, когда мы сидим в тенистом саду у церкви XI века, в которой, оказывается, представителей рода Майеров с незапамятных времен крестили, женили и хоронили. Город Гамельн (на самом деле Хамельн, совершенно не понимаю, почему латинская буква “h” по-русски часто и весьма произвольно, безо всякой логики, превращается в «г». Например, мы говорим Гитлер, хотя правильно будет «Хитлер», но говорим Хемингуэй, а не Гемингуэй; говорим Гёте, что правильно, но Гейне, что неправильно, словом, тайны русского языка) ничем не отличается от десятков ему подобных средневековых городов Германии, так что вы вправе задаться вопросом, что, собственно, привело меня сюда. Этим же поинтересовался херр Майер. Когда же я в ответ спросил его, жили ли его предки в Гамельне во времена Крысолова, он изменился в лице. Да, да, именно так: было до моего вопроса этакое среднегерманское лицо, ничем особенно не отличающееся от всех других, а стало лицо острым, жестким, с плотно сжатыми губами и сузившимися глазами, лицом прямо-таки тевтонским.

– Сказки всё, – это резко ответил Майер, – сказки, – не было никакого Крысолова, всё выдумали, чтобы привлекать туристов!

Сказка же заключается вот в чем: в Гамельне завелись крысы, они размножались и наглели так, что не было от них спасу, они нападали на собак и кошек, кусали младенцев, лежащих в кроватках, съедали городские запасы, и как ни боролись с ними, ничего сделать не могли. Тогда магистрат объявил награду тому, кто поможет избавить Гамельн от крыс. Вскоре в городе появился человек в пестрой одежде и с дудкой, который обещал очистить Гамельн от крыс, за что ему было обещано «столько золота,

сколько он сможет унести». Он вынул дудочку, заиграл и пошел в сторону реки Везер, а за ним потянулись крысы – сотни и тысячи крыс повылезали из своих нор, послушно следуя за мелодией дудки, и все крысы до последней утонули в Везере. Крысолов вернулся в магистрат и потребовал награду, но теперь, когда крыс можно было не опасаться, награда показалась магистрату излишней, и Крысолова прогнали. Прошло время. И вот однажды в городе Гамельне вновь появился человек в пёстрой одежде и с дудочкой. Он заиграл, и к нему отовсюду сбежались дети. Околдованные взрослые не могли сдвинуться с места, а дети шли за Крысоловом. Он вывел их из Гамельна, и больше их никто никогда не видел.

Говорят, что трое детей уцелели: один был слепым, поэтому он не видел, куда ушел Крысолов; второй был глухим, поэтому не пошел за дудочкой. А третий был хромым и немым – он отстал от других и, хоть видел что-то, ничего сказать не смог. Сказочка, скажете вы, каких сотни в мире. Так-то оно так, да не совсем. В хронике города Гамельна, в записи о 1384 годе, сказано: «Сто лет тому назад пропали наши дети». В той же хронике от 1375 года записано: «В 1284 году в день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, одетый в пёструю одежду флейтист вывел из города сто и тридцать рождённых в Гамельне детей на Коппен близ Кальварии, где они и пропали».

Сказочка, записанная с немецкой правдивостью, точностью и аккуратностью в городскую хронику, которая хранится по сей день в ратуше. Или быль? Так или не так, но эта история пленила десятки, даже сотни драматургов, авторов опер, писателей и поэтов от Гёте и Роберта Браунинга до Цветаевой и Бродского. Да и сам Гамельн хранит память об этой легенде. На зданиях то и дело можно встретить горельефы крыс, а на улице, по которой, как гласит предание, Крысолов вел детей, – Bungelosenstrasse («Улица, где запрещено бить в барабаны», «Улица молчания») по сей день запрещено исполнять любую музыку, танцевать и веселиться. Так сохраняется траур по исчезнувшим детям.

Я был в Гамельне именно 26 июня, и в этот день ежегодно весь город собирается на красочную постановку этой легенды. Все одеты в соответствующие костюмы – крыс, детишек, бюргеров, магистратов. Тот, кто при мне играл роль Крысолова, когда-то играл роль ребёнка, потом крысы, потом магистрата…

Как у всякой народной сказки, и у этой есть мораль, которую по-русски можно выразить так: «Жадность фраера сгубила». Но с веками фигура Крысолова постепенно приобрела зловещую окраску и превратилась в образ коварного злодея, сладкая музыка которого увлекает и приводит к гибели миллионов людей. Не

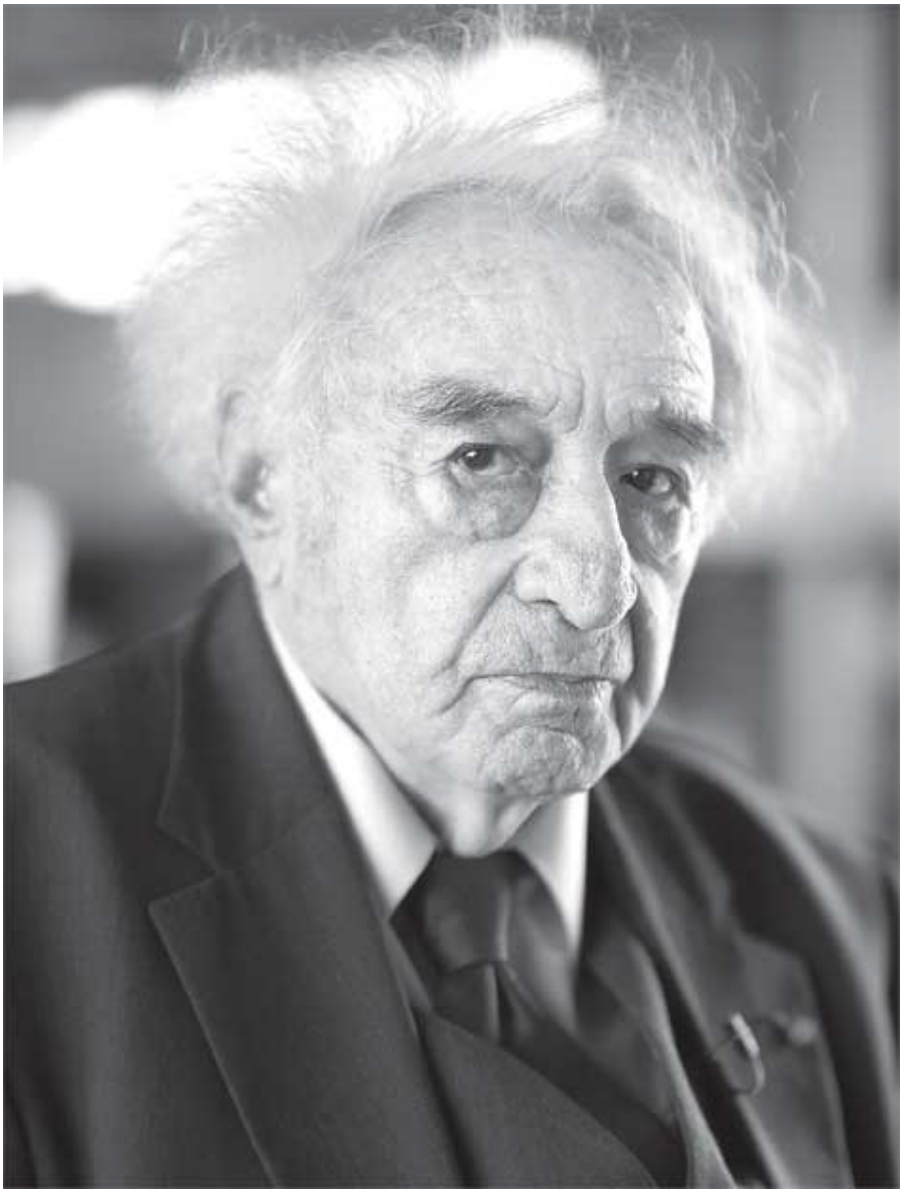
были ли такими «флейтистами» Наполеон, Ленин, Сталин, Гитлер? Да и множество других «дудочников» – популистов помельче, обещающих простое решение сложных вопросов и светлое будущее для всех…

Как писал нежно мной любимый Николай Васильевич Гоголь, «что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете – редко, но бывают».

Макс Маннхаймер

Макс Маннхаймер работает экспонатом. Так, по крайней мере, показалось мне, когда мы приехали в Дахау, чтобы снять эпизод, посвященный концлагерям.

От оригинала мало что осталось: все бараки – новоделы; они построены, чтобы посетители смогли составить себе представление о том, как Дахау выглядел в дни своего расцвета. Правда, от оригинала кое-что осталось: газовая камера и печи, в которых сжигали трупы убитых. Самое сильное впечатление – от их обыденности. Одноэтажное кирпичное здание с четырьмя окнами и четырьмя дверями, каждая из которых ведет к печи. И сама печь, по существу не отличающаяся от тех, в которых сжигают тела усопших в крематориях. Это и поражает. Ведь должно быть что-то ужасное, что-то невыносимо страшное, на что будет невозможно смотреть. А есть только скучное одноэтажное кирпичное здание с четырьмя окнами и четырьмя дверями, а за ними – четыре печи с круглыми отверстиями, куда на металлических люльках вкатывались трупы.



Чуть сбоку от крематория выставлена огромная фотография. На ней – крематорий таким, каким он был тогда. И тут я не поверил своим глазам: сквозь стекло четырех окон видны на подоконниках аккуратные горшки с цветами. Как передать ощущение от сочетания горшочков с цветами с тем местом, которое они украшают? У меня даже закружилась голова. А потом, когда я стал брать интервью у посетителей (это были немцы, приехавшие сюда из разных городов, часто со своими детьми) я подводил их к этой фотографии и спрашивал:

– Вас ничего здесь не удивляет?

И не было ни одного человека, который бы заметил это сочетание несочетаемого. Ни одного. И когда я обращал их внимание на цветы на подоконниках, они чуть смущенно улыбались и смотрели на меня с некоторым удивлением: «Ну и что тут такого?»

Макса Маннхаймера прикатили в инвалидном кресле для интервью, которое состоялось в одном из бараков-новоделов. Мне кажется, ни о чем писать не надо. Всмотритесь в его лицо. Разве оно нуждается в комментариях? Маннхаймер много и охотно рассказывал о своем существовании в концлагерях – он был и здесь, в Дахау, потом его перевезли в Аушвиц (Освенцим), но убить не успели. Скорее всего, потому, что он стал невидимым. Во время интервью он сказал мне: «Чтобы выжить в концлагерях, надо было стать незаметным, как дождь во время дождя».

Вот он и стал.

Не могу объяснить, почему, но в этом «новом» Дахау я не испытал тех чувств ужаса и омерзения, которых ожидал и которых всегда испытываю, когда по телевизору показывают документальные ленты, снятые самими немцами в концлагерях времен Третьего рейха. Ведь оригинал действует сильнее копии, пусть и самой искусной.

Спустя несколько дней мы поехали в другой концлагерь – Берген-Бельзен. От него не осталось ничего – никаких бараков, никаких признаков того, что здесь когда-то содержались тысячи узников. Нет ничего, кроме разбросанных кирпичей, небольшого количества могильных плит, очень скромного памятника Анне Франк; есть музей, но от самого лагеря не осталось ничего. Только тишина, нарушаемая шелестом деревьев и звуком собственных шагов. Но именно здесь и мне, и Ване Урганту было невыносимо тяжело. Настолько, что он не смог говорить на камеру и не смог сдержать слёз. То, что происходило здесь более 70 лет назад, продолжает говорить. Нет, не говорить – выть. И описать это невозможно.

Как не задаться вопросом: есть ли что-то общее между нацистскими лагерями и советским ГУЛАГом?

Советские лагеря появились раньше немецких, в частности, на Соловках. И среди них не было лагерей смерти, специально построенных для уничтожения как можно большего количества людей наиболее эффективным и экономичным образом. А во всем остальном…

Не так давно я побывал в Северодвинске, на заводе «Севмаш», где строятся наши атомные подводные лодки. 31 мая 1936 года Политбюро ЦК ВКП(б), Совет Труда и Обороны СССР приняли

постановление о строительстве судостроительного завода в районе Никольского устья Северной Двины. Строительство было названо Судостроем. В 1938 году Судострой получил статус города и имя Молотовск, в 1957 году переименованный в Северодвинск.

В 1938–1953 годах существовал Ягринский исправительно-трудовой лагерь. В разное время в нем содержалось от 5 до 31 тысячи человек (по некоторым данным – до 50 тысяч). При этом только за 1940–1945 годы там умерло более 9 тысяч человек. Заключённые строили заводы, порт, жилые дома и дороги, валили лес и добывали песок.

Не так давно мне в голову пришла совершенно крамольная мысль: а не может ли быть так, что «эффективный менеджер» Сталин придумал ГУЛАГ рабского труда, использования бесконечно дешевого человеческого материала, которое, однажды использовав, можно было без сожалений выбросить?

Одноклассники

Когда меня привезли в Восточную Германию в декабре 1948 года, я не говорил по-русски. До вынужденного отъезда из США моего отца, за которым последовала вся семья – мама, брат Павлик и я. Дома я говорил по-французски, вне дома – по-английски. Конечно, я слышал русскую речь, когда папа говорил со своей сестрой Лёлей или с другими русскими знакомыми. Слышать – слышал, но не понимал ничего, кроме «да», «нет», «хорошо» и «пожалуйста». Если бы мы не уехали, думаю, я так и не знал бы русского языка.

Всё-таки сделаю отступление, чтобы объяснить причину нашего отъезда, который был на самом деле сродни бегству.

Мой отец, Владимир Александрович Познер, вместе с родителями эмигрировал из Советской России в 1922 году. Ему было 14 лет, столько же, сколько было мне, когда мы покинули Америку. Странное совпадение. Эмигрировал он в Берлин. Еще

одно совпадение. Потом, правда, переехал в Париж, где завершил школьную учебу и вступил во взрослую жизнь. Не стану вдаваться в подробности, скажу лишь, что он увлёкся социализмом и Советским Союзом, увлёкся настолько, что в какой-то неизвестный мне момент при неизвестных мне обстоятельствах стал сотрудничать с советской разведкой. Было ли это еще во Франции в 30-е годы, случилось ли это потом, когда мы жили в Америке, – не знаю. Но знаю совершенно точно, что сотрудничал. Более того, знаю, что в материалах советской разведки он фигурировал под именем «Платон», и имею основания считать, что американская контрразведка его вычислила. Думаю, что его должны были взять со дня на день и именно поэтому ему поступило предложение от советского руководства срочно переехать в Берлин для работы в «Совэкспортфильме». И он это предложение принял, кардинальным образом изменив мою жизнь. Конечно, он изменил и свою, и мамину жизни, но они уже были вполне взрослыми людьми – ему было 40, ей 38; брату моему было всего лишь 4 года, переезда он и не заметил. А для меня, балованного нью-йоркского мальчика, не знавшего ни голода, ни холода, учившегося в привилегированных школах, серый, всё еще разбитый, пахнувший кислым дымом сланцевого угля Берлин был омерзителен и чужд.

Но, может быть, тяжелее всего было то, что я не говорил по-русски, а раз не говорил, то русские, с которыми я случайно сталкивался, принимали меня за немца, что было невыносимо мальчику военного времени, ненавидевшего немцев и Германию со всей страстностью своего подросткового сердца.

Вскоре после нашего приезда и школьных зимних каникул меня определили в 7-й класс одной из советских средних школ, которые были созданы для детей советских военных и гражданских лиц, работавших в Берлине. Тогда-то я и начал учить русский язык. Увы, не долго счастье продолжалось: в Москве решили, что советские дети, живущие в Германии, подвергаются тлетворному влиянию Запада; последовало распоряжение закрыть все советские школы и детей отправить обратно в СССР.

При отсутствии советских школ и моём категорическом отказе учиться в немецкой школе мой отец, вероятно, настоял бы на том, чтобы разрешили нам поехать в Москву. Каков был бы в этом случае сценарий, не знает никто, но шансы, что его конец был бы трагическим, велики: после окончания Второй мировой войны в СССР вернулось довольно большое количество так называемых реэмигрантов, судьба которых оказалась печальной. Кого отправили в глухие уголки страны, кого ждал ГУЛАГ, а кого расстрел. Скорее всего, именно так сложились бы дела, если бы

не одно непредвиденное обстоятельство.

Когда Гитлер и НСДРП пришли к власти в Германии, многие коммунисты бежали в Советский Союз. У некоторых были маленькие дети, другие родили своих детей в Союзе, и эти дети росли и учились в советских школах. Они говорили по-русски, как мы с вами, говорили лучше, чем по-немецки, они были вполне русскими, или, как сказали бы сейчас, россиянами. Чаще всего у них были русские имена – Тамара, Ульяна, Лора, Борис, Илья, а вот фамилии… Немецкие были фамилии. Я плохо представляю себе, каково было учиться во время войны в советской школе ребёнку с фамилией Шмидт, или Браун, или Майер. А ведь у некоторых и имена подкачали: Адольф, Юта. Думаю, им не давали забывать, что они – немцы, а значит, враги, и когда кончилась война и их родителей вернули в ГДР, вряд ли они были огорчены.

А вот обстоятельство, которое я упомянул выше, заключалось в том, что для этих детей, которые, по замыслу руководства ГДР, должны были занять командные посты после получения высшего образования[2], была создана так называемая Немецко-Русская средняя школа, выпускникам которой предстояло завершить учебу в советских ВУЗах. Поэтому преподавание велось на двух языках, русском и немецком, советскими и немецкими учителями. В эту школу определили и меня, в ней я учился два года, окончив 8 и 9 классы.

На фотографии вы видите двух моих соучеников – слева Илья Хельд, справа – Карл Хармс. Илья учился на класс старше меня, Карл на класс младше, так что название этой главы не совсем точно.

Карл, насколько я знаю, был одним из тех, кто не стал ни ученым, ни специалистом какой-либо гражданской профессии, он кончил лётное училище (в СССР ли, в ГДР – не знаю) и стал летчиком-истребителем ВВС ГДР. Когда я встретился с ним дома у Ильи во время съёмок фильма, он очень не хотел давать интервью, ссылался на то, что «попадался не раз». Всё-таки я уговорил его, но, кажется, интервью не вошло в фильм. Да и разговор с Ильёй попал, как говорят в профессии, «в корзину». Я совершенно не помню, о чем мы говорили. Но почти уверен, что главную, с моей точки зрения, тему не стали затрагивать, тему того психологического шока, которые должны были испытать эти ребята, которым в Советском Союзе не давали возможности чувствовать себя советскими, а в ГДР то и дело напоминали, что они не настоящие немцы.

Я уж не говорю о том, что эти ребята были абсолютно советскими по воспитанию, они верили в советскую систему,

горячо поддерживали ее, а потом с такой же пылкостью отстаивали политику ГДР, в том числе строительство всем миром проклинаемой Берлинской стены, и когда всё рухнуло, то они оказались в абсолютном одиночестве. Правда, среди них были несколько человек, которые прозрели раньше других, которые сопротивлялись принятым порядкам; кое-кого уволили с работы с волчьим билетом, кое-кого, как мне говорили, посадили. Но и эти остались «ни вашим, ни нашим» и в конечном итоге никому не нужными.

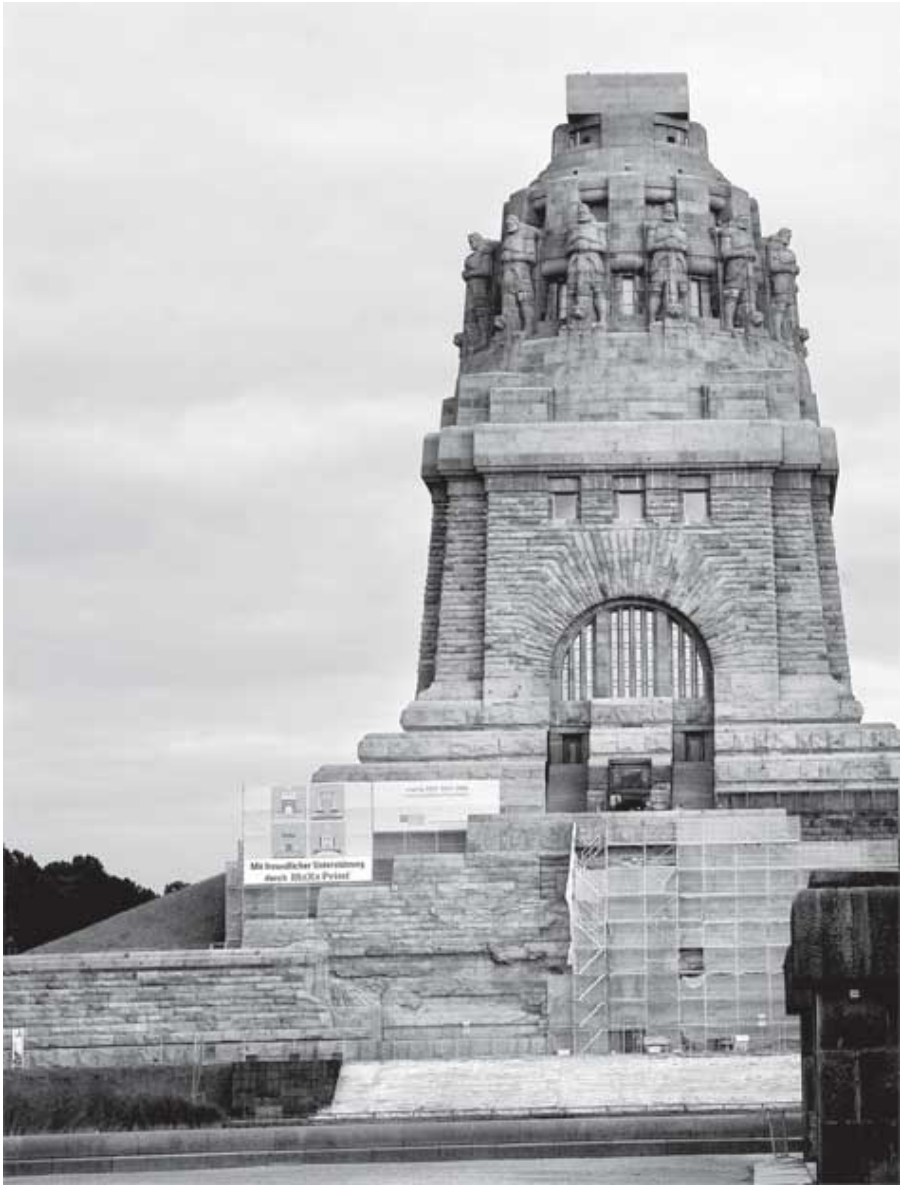
Я их часто вспоминаю, особенно девушку, с которой я дружил (первая юношеская влюблённость) и чья фамилия останется тайной. Пытаюсь представить себе: кем в глубине души они себя чувствовали? Советскими? Русскими? Немцами? Я ведь сам задаюсь этим вопросом. Кто я? Француз, как моя мама? Еврей с русскими корнями, как мой папа? Американец – ведь именно в Америке я сформировался?

И нет ответа.

Bernauer Straße

Памятник

Как утверждал дорогой моему сердцу Марк Твен, следовало бы немецкий язык торжественно препроводить в музей и выставить на обозрение среди давно умерших своей смертью языков. Твен, разумеется, сострил не помню по какому поводу, но возможно по поводу слова «Völkerschlachtdenmal». Так по-немецки называется «Битва народов» – событие, которое произошло в 1813 году, когда объединенные австрийские, шведские, прусские и русские войска (если кого позабыл, прошу простить) разбили войска Наполеона Бонапарте. Произошло это на поле близ Лейпцига, и вот в самом центре этого поля было решено воздвигнуть грандиозный памятник в честь этого знакового события. По разным причинам дело затянулось, но все же совершилось: в 100-летие битвы памятник, вполне себе грандиозный, был открыт. Это самый крупный в Европе памятник, самый высокий (91 метр) и самый… красивый. Так по крайней мере написано на рекламном щите, расположенном метрах в двухстах от памятника. Помимо этого утверждения на щите рядом с изображением памятника нарисована Эйфелева башня, которая выглядит рядом с исполином этаким карликом.



Что до красоты, то, как говаривали мои римские предки, «de gustibus non est disputandum» («о вкусах не спорят»), памятник этот показался мне таким же красивым, как слово «Völkerschlachtdenmal»: как это слово оскорбляет мой слух, так памятник оскорбляет мой взор.

Побывав во множестве мест во время съёмок, я убедился в том, что многих германских памятников объединяют размер (XXXXL) и тяжеловесность; кроме того, в них есть что-то угрожающее, по крайней мере, так мне показалось. Памятники Баварии, возвышающийся над пивным разгулом Октоберфеста,

памятник Германии, с угрозой глядящий через Рейн на Францию, колонна Победы в Берлине, вся увитая пушечными стволами – все они такие.

Написав это, тут же подумал о России, в которой хватает памятников-уродов, например Александру III. Правда, по его поводу тут же сочинили стишок:

Стоит комод,
На комоде бегемот,
На бегемоте обормот,
На обормоте шапка,
На шапке крест,
Кто угадает,
Того под арест!

Всё жду, когда сочинят что-нибудь по поводу памятника Александру Калашникову, который испоганил Садово-Каретную улицу. И, подумав об этом, я вдруг вспомнил удивительное сходство официально принятого изобразительного искусства гитлеровской Германии с официально принятым изобразительным искусством сталинского СССР.

Впрочем, я отвлёкся.

Я так и не выяснил, сочинили ли немцы какие-нибудь смешные стихи по поводу того или иного своего памятника. А жаль.

Правда, я узнал, что памятник в честь победы над Наполеоном является излюбленным местом молодых неонацистов. Правда, это не смешно.

Эрнст-Йорг фон Штудниц

Когда я брал интервью у этого господина, он уже лет десять возглавлял Немецко-русский форум. Но знал я его гораздо раньше, гораздо раньше даже того времени, когда он был послом ФРГ в Российской Федерации (1995–2002), я познакомился с ним в далеком 1969-м или 70-м, когда он был советником посольства ФРГ в Москве. И с тех пор он остаётся для меня фигурой с вопросительным знаком.

В те, теперь уже далёкие, времена общаться с иностранцами в СССР было делом рискованным. Они жили в своеобразном гетто, главным образом на Кутузовском проспекте, и все входы в их дома тщательно охранялись милицией. Чтобы пройти, необходимо было предъявить паспорт, что делать совершенно не хотелось: о вашем приходе тут же сообщалось куда следует, а последствия могли быть самыми разнообразными. Чаще всего посетителями были либо лица, которым это разрешалось и которые потом писали отчеты о своем посещении, либо диссиденты.

Ходил и я.

Но ни к одной из этих категорий я не относился; моё так называемое «иностранное происхождение» вкупе со значительным количеством родственников и знакомых за границей делало меня исключением из правил. Понятно, что о каждом моем приходе докладывалось. Меня охотно приглашали и на приёмы в разные посольства, и к себе домой, главным образом иностранные журналисты, а я в свою очередь воспринимал это как выражение их высокой оценки моих знаний и интеллекта, говоря проще вёл себя как индюк. На самом деле я был им интересен как источник информации, то есть меня «доили», и я с удовольствием «доился».

Однажды меня пригласил на ужин к себе домой один советник. Как жаль, что я не могу вспомнить, какой именно. За столом нас было восемь человек: советники финского, японского посольств и посольства ФРГ, господин фон Штудниц, все трое с жёнами, и я с женой. У кого именно мы были дома – хоть убей не помню.

Я тогда был ответственным секретарём журнала «Спутник», никакими связями или особым весом не отличался, совершенно не соответствовал высокому дипломатическому рангу тех, кто был на этом ужине. Ужин длился довольно долго, жены советников молчали, а сами советники задавали мне вопросы, и я солировал. Сильно увлёкшись своим значением, я демонстрировал смелость и свободолюбие, в частности рассказывая о том, какой дискриминации подвергаются евреи в СССР.

Спустя дня три мне позвонил мой отец и спросил, не могу ли я зайти. Прямо сейчас. По его тону я понял, что дело не терпит отлагательств. Мои родители жили на Новослободской улице (ныне Юрия Долгорукова), минут через двадцать я уже был на месте. К моему удивлению, папа был не один. Он дожидался меня с неким Виктором Александровичем. Тут придётся сделать небольшое отступление.

Мой отец, живя во Франции и в Америке, сотрудничал с советской разведкой. Об этом я узнал незадолго до его смерти, но еще раньше я понимал, что у него особые отношения с КГБ. Я не помню, при каких обстоятельствах и как я познакомился с Виктором Александровичем, но хорошо помню, что он, как сказал мне мой отец, «курирует» нашу семью. Позже я узнал, что он был в чине генерала, что долгие годы он был резидентом в Турции. Лицо у него было крайне неприятное, я даже сказал бы отталкивающее: большие навыкате тёмные глаза, большой с горбинкой нос, высокие скулы, довольно тонкие, красные губы. Чем-то он напоминал мне хищную птицу. Он был категоричен, не допускал возражений, не глуп и очень начитан: я был дома у него раза три и поразился его библиотеке, которая состояла почти целиком из так называемой «запретной» литературы.

Когда я пришел, отец сказал, что Виктор Александрович хотел бы поговорить со мной, и тот предложил пойти пообедать. Предложение прозвучало, скорее, как приказ, мы вышли, сели в дожидавшуюся его «Волгу» и поехали в ресторан «Прага». В те годы я почти не бывал в ресторанах, поэтому с нескрываемым любопытством разглядывал роскошный интерьер. Виктора Александровича официанты приветствовали как родного. На третьем этаже нас ожидал отдельный кабинет с накрытым

абсолютно дефицитными в те годы яствами – различными колбасами, крабами, икрой черной и красной, помидорами.

За всё время поездки не было сказано ни одного слова, но, сев за стол, Виктор Александрович спросил:

– Есть будешь?

Учитывая обстановку, вопрос показался мне странным, я не ответил и просто кинул. Виктор Александрович достал из внутреннего кармана пиджака несколько листов бумаги, сунул мне и сказал:

– На, почитай.

Это был написанный от руки донос на меня. Очень подробный, очень точный пересказ всего, что я сказал на том ужине с тремя советниками. Я молча вернул листы Виктору Александровичу. Он усмехнулся и сказал:

– Если догадаешься, откуда это, значит ты умный. Но ты не догадаешься. Ты не умный. Ты дурачок. Ты думаешь, они от тебя в восторге? Да они презирают тебя, болтуна, индюка.

Он смотрел на меня пристально, неотрывно, а я молчал, растерянный, потерянный.

– Если бы мы не ценили так твоего отца, если бы не жалели твою мать – посадили бы тебя, понял? Но имей в виду, еще один такой прокол, и посадим. А теперь ешь на здоровье.

Насколько я помню, я не съел ничего. Аппетит пропал совершенно.

С тех пор прошло больше сорока лет. Я так и не узнал, как именно был получен этот донос. Вернее, я прекрасно понимаю как, но я не знаю, кто его автор. Но не сомневаюсь, что им являлся один из этих советников. И каждый раз, когда я смотрю на фотографию фон Штудница, я вспоминаю этот эпизод, который оказался важным в моей жизни: я разом повзрослел, поняв со стыдом роль собственного тщеславия.

Когда я встретил фон Штудница, чтобы взять у него интервью для нашего фильма, то спросил его, помнит ли он наш ужин сорокалетней давности.

– Какой ужин? – с удивлением спросил меня бывший советник и бывший посол, глядя на меня прозрачными голубыми глазами.

Роланд Ян

Среди типичных черт немцев есть одна, которой не решаюсь дать оценку «хорошо» или «плохо». Я имею в виду совершенно жёсткую, ничего не признающую прямоту. Теоретически это может выглядеть так…

Женщина спрашивает: – Правда, я выгляжу моложе своих лет?

Ответ: – Нет, мне не кажется.

В любой знакомой мне стране ответили бы комплиментарно. В любой, кроме Германии. Это хорошо? Это плохо?

Из области теории перейдём в области практики.

Господин Роланд Ян возглавляет BStU – службу, занимающуюся архивами Staatssicherheitsdienst, сокращенно SSD, в просторечии Stasi, по-русски – Министерство государственной безопасности ГДР.

Когда стало понятно, что скоро наступит конец существованию Германской Демократической Республики, среди первых и наиболее срочных стояла задача уничтожения множества документов, в том числе относящихся к деятельности Stasi. Технически это делалось с помощью шредера – аппарата, специально созданного для резки бумаги на тоненькие полоски и крошечные кусочки. Это и есть то, что досталось работникам службы – тысячи мешков измельченной бумаги. Что с этим делать? Казалось бы, сжечь, уничтожить. Но нет, была поставлена совершенно другая задача: восстановить столько документов,

сколько физически возможно.

Вы, конечно, знаете, что такое пазл? Когда из нескольких десятков, иногда сот, редко тысяч кусочков надо воссоздать единую картину. Это довольно трудно, но, учитывая, что картина прилагается, можно подбирать тот или иной кусочек по цвету, по рисунку и таким образом воссоздать целое.

Но тут пазл совершенно другого рода. Здесь миллионы кусочков бумаги при полном отсутствии какого-либо рисунка. Это работа невероятной сложности. Цель же одна: восстановить письма, доносы, рапорты, которые позволят выяснить личности тех, кто либо служил в Stasi, либо работал на них, проще говоря – «стучали».

Дело хорошее? Не спешите с ответом.

Конечно, выявить бывших членов тайной полиции и тех, кто им прислуживал, дело благородное, но… Представьте себе такую историю: во времена ГДР некая фрау Шмидт официально работала незаметной служащей в Министерстве торговли, а на самом деле работала в Stasi. Об этом не знали ни ее муж Дитер Шмидт, сотрудник банка, ни ее дети Мария и Ханс, которым в том время было соответственно 10 и 12 лет. Прошло десять лет. ГДР более не существует. Господин Шмидт ныне служит директором сберкассы, дети учатся – Мария в художественной школе, Ханс в Гейдельбергском университете. А фрау Шмидт переквалифицировалась, открыла собственный магазин, в котором торгуют предметами искусства из Юго-Восточной Азии, используя прежние связи. Всё хорошо. Но вот господину Яну сотоварищи удаётся «склеить» несколько бумажек, из которых становится понятным, что фрау Шмидт не только работала в Stasi, но писала доносы на собственного мужа. Нет, ничего плохого она не писала, просто выполняла приказ: писала правду. Мужу это, к счастью, не навредило, но всё же… И вот в один прекрасный день Дитер Шмидт, его дети Мария и Ханс узнают, что их милая жена/мама работала вовсе не в Министерстве торговли ГДР, а в Stasi, да не просто работала, а еще и стучала на них.

Последствия такого сюрприза предсказать сложно, но в том, что последствия будут, к тому же малоприятные, можно не сомневаться. Вполне допустимо, что семья развалится. А ведь несчастная госпожа Шмидт выполняла приказ, ослушаться не могла – вернее, могла, но боялась последствий. Так может быть, не надо предавать гласности такие вещи?

Роланд Ян абсолютно убежден, что надо. Необходимо. Правда требует того. Правда, считает Ян, это абсолют. Она всегда лучше неправды, всегда лучше неизвестности. И мы, говорит он, будем разбирать эти мешки (их, кажется, порядка 30 тысяч) до самого

последнего клочка бумаги. В поисках правды.

Во время интервью у господина Яна, я пытался понять, чем руководствуется он в своей работе, каково «топливо его внутреннего мотора»? Справедливое и объективное осуждение тайной полиции, державшей в страхе население ГДР, или что-то другое? Например, личный мотив. Я выяснил, что Роланд Ян еще со школьной скамьи конфликтовал с режимом ГДР. Началось с чепухи – пошел воевать за право своего одноклассника носить длинные волосы, что запрещал директор школы. Аж в Министерство образования в Берлин поехал из города Иена, в котором сам родился и жил. И добился своего! Потом, будучи 24-летним студентом университета, вышел на демонстрацию, держа над головой пустой белый плакат как протест против цензуры. Еще через пять лет распространил свою фотографию, на которой одна половина была раскрашена под Гитлера, а другая – под Сталина. Был исключен из университета. Ему еще не было 30, когда был арестован и приговорен к 22 месяцам тюрьмы за то, что разъезжал на велосипеде с польским флагом и надписью в поддержку профсоюза «Солидарность». Дело кончилось тем, что Яна лишили гражданства и депортировали в ФРГ, откуда он оказывал самую разнообразную помощь противникам гедеэровского режима.

Так вот, вопрос: страстное стремление Яна разобраться «до последнего клочка» бумаги, никого не жалея – это что? Высочайший образец служения правде? Или жажда мести?

И когда мы, размахиваем лозунгом справедливого разоблачения тех, кого мы когда-то боялись, тех, кого мы ненавидели, всегда ли нами руководит неодолимое желание служить истине?

Только не спешите с ответом.

Тило Саррацин

Сей господин прославился в Германии книгой «Германия. Самоликвидация», вышедшей в свет 2 сентября 2010 года. Почти ровно за год до этого, 6 сентября 2009 года, Саррацин дал интервью журналу “Lettre Internationale”, в котором высказал, в частности, следующее суждение: «Интеграция есть задача того, кто интегрируется. Я не обязан уважать того, кто ничего для этого не делает. Я вообще не обязан кого-то уважать, кто живёт за счет государства, отвергает это государство, не заботится должным образом об образовании своих детей и постоянно производит на свет маленьких „девочек-в-платках“». Речь, как вы понимаете, шла об иммигрантах из Турции и арабских стран.

Интервью вызвало гневное осуждение как германских СМИ, так и подавляющего большинства представителей истеблишмента (хотя и не всех). Саррацину было предложено подать в отставку со своей должности в Государственном банке, но он отказался, в связи с чем его служебные функции были резко ограничены. Когда же вышла «Германия. Самоликвидация», разразился всегерманский скандал.

Управление федерального банка постановило ходатайствовать перед Федеральным президентом об освобождении Саррацина от должности члена Совета директоров. Дело завершилось тем, что Саррацин добровольно покинул Совет, но добившись того, что пенсия, которую он будет получать по достижении им пенсионного возраста, должна быть поднята на 1000 евро в месяц до уровня, соответствующего плановому окончанию его контракта с федеральным банком в 2014 году. При этом Саррацин объяснил свой добровольный уход нежеланием ставить под удар авторитет должности Федерального президента

в случае, если тому пришлось бы отправить Саррацина в отставку своим распоряжением и оно было бы впоследствии признано судом незаконным.

Если свести книжку Саррацина к нескольким пунктам, то автор утверждает следующее:

1. Иммиграционная политика ФРГ ошибочна.

2. Если иммигранты из России, Польши, стран Балтии и Кореи быстро адаптируются к новым условиям, если их дети учатся ничуть не хуже немецких, а сами они работают качественно и постепенно интегрируются в немецкое общество, то дети турецких и арабских иммигрантов учатся очень плохо, а их родители вообще не работают и не стремятся к интеграции.

3. Это грозит Германии серьезными последствиями, поскольку эти иммигранты рожают значительно больше детей, а эти дети, повзрослев, но ничему не научившись и даже плохо говорящие по-немецки, придут в народное хозяйство с катастрофическими последствиями.

4. Необходимо принципиально изменить иммиграционную политику, а именно: не допускать приезда нелегальных иммигрантов, резко сократить число приезжающих в Германию иммигрантов из арабских стран.

5. Мы должны усилить контроль на своих границах с Италией и Австрией, а также между Европой и Африкой. Если для этого необходимо изменить конституцию, то пусть это будет сделано… Я бы даже сказал, что если необходимо разместить нелегальных иммигрантов в центрах задержания, то пусть будет сделано и это.

Последний пункт – цитата из интервью Саррацина эстонскому журналу Delfi от 19 декабря 2016 года. В этом же интервью Саррацин заявил: «Германия – это корабль, который идет ко дну».

Когда я брал интервью у Саррацина, он был совершенно спокоен: говорил тихо, размеренно, твердо отрицал обвинения в расизме, тем более в фашизме, отстаивал свои взгляды ссылками на открытую и общедоступную статистику. Я задавал вопросы, слушал его ответы и отгонял от себя назойливый внутренний голос, спрашивавший: «А, может, он прав? Не во всем, конечно, но в чем-то прав?»

Существуют темы не то чтобы запретные, но подход, к которым требует не меньше осторожности, чем хождение по заминированному полю: один неверный шаг – и ты подорвешься. Вот конкретный пример. Когда я снимал фильм об Израиле, то в серии, посвященной Иерусалиму, я среди прочего сказал, что был неприятно удивлен тем, насколько этот город грязен. Еще я

сказал, что арабская часть Иерусалима отличается большей чистотой, чем израильская. Я рассказал о том, что я видел собственными глазами. В ответ на это на меня обрушился шквал обвинений в антисемитизме. Чуть расширив эту тему, могу сказать, что любая критика в адрес Израиля воспринимается в определенных кругах именно так. Когда я говорил с весьма высокопоставленными членами парламента и правительства Израиля о неоднократных нарушениях решений ООН относительно строения поселений на палестинских землях, не было ни одного человека, который не сказал бы мне, что на самом деле эти решения ООН есть проявление антисемитизма: мол, быть откровенным антисемитом ныне в мире не модно, но можно скрыть свой антисемитизм под личиной критики Израиля. И в таком споре ты не можешь выиграть, потому что доказать, что ты не верблюд, невозможно.

Возвращаясь к встрече с Саррацином, я помню, как, будучи в Германии и разговаривая с разными немцами, я слышал полные возмущения обвинения в его адрес, обвинения в расизме, национализме, даже в фашизме. С одной стороны, резкая реакция немцев на публично высказанные взгляды Саррацина я отлично понимаю: никто не забыл о Третьем рейхе, о проповеди «высшей расы» и о Холокосте, чувство вины никуда не делось, а если не вины, то как минимум стыда. По всем внешним признакам немцы, как ни один другой народ, не позволяют себе забыть прошлое. Помню, как лет двенадцать тому назад я спросил своего десятилетнего внука, рожденного в Берлине, что говорят им в школе о нацизме (он учился в немецкой школе). Цитирую по памяти:

«Нам говорят, что виноват был не только Гитлер, не только нацисты, нам говорят, что виноват был немецкий народ, который поддерживал Гитлера».

Вот так. В какой еще стране учат ребёнка тому, что именно его народ был виноват в тяжелых преступлениях, когда-то совершенных с якобы благородными целями?

Я не могу судить о том, насколько «перевоспитались» немцы. Но понятно, что не все избавились от нацистской прививки, чему, между прочим, свидетельствует один из моих самых любимых немецких анекдотов:

Немецкий водитель везет группу туристов из Израиля в Заксенхаузен, один из самых страшных лагерей смерти. По пути автобус ломается.

– Посидите, господа, – успокаивает всех водитель, – сейчас схожу в деревеньку рядом, всё починим.

Он подходит к аккуратному, чистенькому домику, перед

которым на аккуратно постриженном газоне цветут аккуратно посаженные цветы, и звонит дверь. Ему открывает седовласый розовощекий хозяин.

– Чем могу помочь? – спрашивает он.

– Да вот, я везу группу евреев в Заксенхаузен, но автобус сломался…

– Помог бы с удовольствием, но у меня только микроволновка.

Жёстко, конечно, но по-немецки прямо и правдиво.

Возвращаясь к тому, с чего начал: в нынешних обстоятельствах есть вещи, которые нельзя говорить без риска того, что будешь предан анафеме с ярлыком «расист», «националист» и того хуже «фашист». К ним относятся любые утверждения, да что утверждения, сомнения в том, что не все иммигранты способны интегрироваться. Может быть, правильнее было бы сказать вместо «не способны» – «не хотят», но это уже тонкости. Примеров предостаточно. Очень яркий – китайцы в Америке. Они появились в последней четверти XIX века, создали свои знаменитые «чайнатауны», но так и не стали американцами. В этих анклавах по сей день вовсе не говорят по-английски или говорят из рук вон плохо. На всех магазинах надписи только на китайском. Но в условиях Америки это, скорее, забавно, нежели повод для беспокойства: население США составляет порядка 300 миллионов человек, среди них китайцев чуть больше 2 миллионов (что равно 0,7 % от числа всех жителей). Нет даже теоретической угрозы того, что этот неинтегрирующийся чужой этнос – чужой по культуре, истории, религии, традициям – станет столь многочисленным, что повлияет на местный. Чего нельзя сказать о мусульманской иммиграции в Германии (и не только).

Я не специалист, но сами эти вопросы, как мне представляется, достойны обсуждения. Отмахиваться от них, причислять тех, кто задаёт их, к моральным уродам, как произошло в случае с Саррацином, как минимум ошибка, если не хуже: глупо. Явный политический откат вправо, приведший к власти Трампа в Америке, Орбана в Венгрии, Качиньского в Польше и причудливую смесь руководителей в Италии, случился не без причин. Как мне кажется, нежелание задаться вопросом: нет ли ошибок в практическом применении теории мультикультурализма, нет ли заблуждений по поводу возможного интегрирования любого национально-религиозного этноса среди другого, одна из них.

Лея Рошель

Ей на этой фотографии 76 лет. От нее веет силой. Разговаривая с ней, я пытался представить ее за 17 лет до нашей встречи – именно тогда, в 1995 году ей, берлинской журналистке, пришла в голову мысль создать в этом городе мемориал жертвам Холокоста.

Как с любой идеей, а с такой тем более, её воплощение было трудным. Многие были против, и причин тоже было много. Помимо ожидаемых «идейных» противников, то есть тех, которым идея была противна по существу («Уже хватит этих мемориалов, Холокостом наелись досыта!»), были другие, гораздо менее предсказуемые, в частности, различные представители еврейской диаспоры.

А были и такие, кто был за, так сказать, в принципе, но… Например, канцлер ФРГ Гельмут Коль, который, как рассказывала мне госпожа Рошель, сказал ей, что поддерживает её предложение, но «сейчас не время говорить об этом публично», поскольку предстоят выборы, а вот после выборов… Зато основной противник Коля, Герхард Шредер, был против. Но жизнь причудлива: Рошель удалось уговорить Коля не только публично поддержать идею создания мемориала, но и дать необходимые указания для её запуска, и когда выборы выиграл Шредер, тому не оставалось ничего, как выступить в поддержку проекта. Как сказала мне Рошель, «он вскочил в последний вагон уходящего поезда».

Мемориал, движущей силой которого она является, не предмет моих размышлений. Некоторым он нравится, некоторым – нет. Он состоит из бетонных плит – их более двух тысяч – гладких, серых, без надписей. Все они стоят, но можно бы сказать, что некоторые чуть ли не лежат, так они низки, но большая часть стоит, безмолвно стремясь в небо. Я провёл не один час среди этих обелисков, глядя либо вдаль, либо ввысь, и чем дольше я ходил по этому бесконечному бетонному лесу, тем тяжелее становилось на душе, тем труднее было дышать и тем сильнее охватывало чувство одиночества и безнадежности. Но пишу я не о мемориале. Я пишу о том, какие мне пришли в голову мысли, когда я после пятилетнего перерыва вновь смотрел на эту фотографию Леи Рошель.

Такие люди, как она, всегда являются для меня загадкой. Мемориал её десятилетней борьбы не принес ей ничего – ни денег, ни славы. Правда, в Википедии можно найти упоминание, что она – автор идеи. Если хорошенько поискать. А так – ничего.

Я абсолютно уверен: многие её друзья уговаривали её бросить это дело. Зачем нервничать, зачем делать себе врагов, к чему это всё?! Уверен и в том, что ей досталось по полной, что она получила целый воз оскорблений от «смельчаков», пользующихся удобствам Интернета. Наверняка коллеги-журналисты уговаривали её заняться чем-нибудь более «актуальным», в конце-то концов, мемориалов жертвам нацизма предостаточно, да и война кончилась пятьдесят лет тому назад.

Впустую.

Она своего добилась.

Почему-то вспомнил разговор с двадцатилетним сыном моих друзей. Мальчик умный, честный, остро реагирующий, как свойственно этому возрасту, на несправедливость и ложь. Он был среди тех, кто, незадолго до президентских выборов принимал участие в демонстрации протеста в Москве. Его забрали, как и многих, он сутки отсидел в КПЗ, потом отпустили – это было его первое «нарушение», но оштрафовали, кажется, на пять тысяч рублей, которые уплатили его родители. Рассказывая мне об этом, он сказал, что в следующий раз оштрафуют тысяч на пятнадцать, а потом вообще дадут срок.

– Я не готов к этому, – сказал он, – но что-то надо делать, чтобы поменять ситуацию, а я не понимаю что. Может, мне просто оставаться в Англии? (Он закончил там университет.)

Участвовать в демонстрациях, конечно, можно; помимо всего прочего, это даёт адреналин и ощущение реального дела. Только подчас эти выходы на улицу напоминают мне грибоедовское «шумим, братец, шумим», потому что чаще всего участвующие в этом молодые люди – а именно они составляют большинство – не имеют ясного представления о цели. Главное, они – против. Но против чего? Ну, против Путина, против авторитарности его режима, против несменяемости власти.

Взять, например, демонстрации, прошедшие под лозунгом «Он нам не царь». Это акция против чего? Против третьего срока

Владимира Путина? Но за Путина проголосовало более 70 % избирателей, следовательно, это акция против подавляющего большинства, и она заранее обречена на неудачу. Если бы в Москве вышли пятьдесят тысяч человек, это говорило бы о серьезном неприятии нынешней власти, но при самом оптимистическом подсчете количества вышедших на улицу по всей стране всё равно получается пшик. Впрочем, это не так важно: сегодня пшик, а завтра кто знает?

Выходить на улицу с протестом не только можно, но и нужно, если ты видишь в этом свой долг и если ты можешь ясно и четко объяснить себе, для чего ты выходишь. И еще: если ты отдаешь себе отчет в том, что представляешь собой ничтожное меньшинство и что, скорее всего, ты встретишь противодействие.

Так к чему тут рассказ о Леи Рошель? А к тому, что можно добиться чрезвычайно значимых вещей, не выходя на улицу, не участвуя в публичных протестах. Можно, например, участвовать в муниципальных выборах и победить, а потом, будучи избранным, добиваться определенных целей. Другими словами, кроме героического – а порой псевдогероического – участия в публичных протестах есть другие, иные пути, которые порой оказываются куда более эффективными.

Не обязательно садиться в тюрьму, чтобы оставаться верным своим убеждениям.

Дитер Грауманн

Дитер Грауманн – президент Центрального совета евреев Германии. Я хотел выяснить, каково реальное положение с антисемитизмом в стране, повинной в гибели 6 миллионов евреев. Понятно, что официально всё отлично, всё под контролем, никаких публичных проявлений антисемитизма нет, а если вдруг что-то такое появляется, то применяются самые строгие (я бы даже сказал драконовские) меры пресечения. И всё-таки…

Прежде чем продолжить, расскажу вам один, на мой взгляд, удивительно меткий анекдот. Как и почти все антисемитские анекдоты, он придуман, конечно же, евреями. Итак…

Прилетает в Берлин из Тель-Авива пожилой еврей. Ну, такой щупленький, неказистый, в очках. Выходит из аэровокзала «Тегель», таща тяжелый чемодан, подходит к первому такси (а их очень много, все «Мерседесы» цвета кофе с молоком) и спрашивает водителя:

– Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к евреям?

Водитель несколько ошарашен неожиданным вопросом, но отвечает:

– Я? К евреям? Замечательно отношусь! Эйнштейн, Чарли Чаплин, Ньютон! Гениальный народ!

– Спасибо, – говорит еврей и подходит к следующему водителю: – Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к евреям?

– Что же вы такое спрашиваете?! – удивляется водитель. – Моя жена еврейка!!

– Спасибо, – говорит еврей и идет дальше. Доходит до восьмого водителя и задаёт ему тот же вопрос. Водитель оглядывается, ли не следит ли кто за ним, и говорит:

– Жалко, что Гитлеру не удалось решить вопрос до конца.

На что еврей говорит ему:

– Вы честный человек. Посторожите, пожалуйста, мой чемодан, пойду пописаю.

Такие анекдоты не рождаются на пустом месте, не так ли, спросил я Грауманна. Он согласился, но потом рассказал совершенно для меня неожиданную вещь:

– Евреи жили в Германии долго и вполне счастливо до прихода к власти Гитлера и нацистов. Настолько счастливо, что очень многие среди них никак не могли поверить в то, что над ними нависла смертельная опасность: они отказывались уезжать, а когда поняли, что к чему, было уже поздно. Так вот, – продолжал Грауманн, – так возник образ еврея-жертвы, еврея угнетенного, еврея, боящегося собственной тени. Для антисемита такой еврей – лакомый кусок. Выжившие немецкие евреи так и не смогли вырваться из лап этого страшного прошлого и в этом смысле оставались отличный целью для стрел антисемитов. Но произошла совершенно непредсказуемая и поразительная вещь: в Германию хлынул поток советских евреев. Это началось в семидесятых, но тогда это был ручеёк; когда же пал железный занавес, ручеёк стал широченной рекой. Но вы понимаете, это были другие евреи. Это были евреи-победители, а не евреи-жертвы, они не оглядывались с опаской, а шли прямо, высоко подняв голову. Они 9 Мая выходят на улицу с орденами и флагом, они пляшут под аккордеон, они поют песни военных лет. Им ничего не страшно, и к ним не привяжется ни один антисемит.

Через несколько лет, когда я снимал фильм об Израиле и брал интервью у премьера Биньямина Нетаньяху, я спросил его, в какой степени алия из СССР и России изменила Израиль.

– Это невозможно даже представить себе, – ответил он. – Из-за них изменилась страна. Ведь Израиль был аграрной страной, без науки, без промышленности. А приехали люди необыкновенно образованные, с университетским образованием, математики, физики, не говоря о великолепных музыкантах, которые резко подняли культурный уровень страны.

Дальше он хитро улыбнулся и сказал:

– Так что ваша потеря оказалась нашим ценнейшим приобретением.

Есть над чем поразмышлять, не правда ли?

Бернхард Шлинк

Длинный, тощий, на первый взгляд аскет. Пока молчит, выражение лица донельзя печальное.

Бернхард Шлинк прославился своим романом «Чтец», который вышел в свет в 1995 году. Он был переведен на английский в 1997-м и оказался первой книгой немецкого автора, попавшей в список бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс». Но подлинную популярность книга приобрела после выхода одноименного фильма, главные роли в котором сыграли Кейт Уинслет и Рейф Файнс. Это было в 2008 году.

До этого я книгу не читал, но фильм меня совершенно потряс, и когда встал вопрос о съёмках документального кино о Германии, Бернхард Шлинк стоял чуть ли не первым в списке тех, кого я хотел интервьюировать.

Мы встретились в одном из классов университета, где он преподаёт юриспруденцию. Пожалуй, это было одно из лучших моих интервью. Вы можете представить себе моё огорчение – нет, не огорчение, а возмущенное разочарование, когда выяснилось, что из-за ошибки звукооператора интервью было записано с браком и не могло быть использовано.

К счастью, я записывал от руки некоторые высказывания Шлинка, которые, на мой взгляд, необыкновенно точны и помогают понять немцев. Вот некоторые из них:

«Мы, немцы, предпочитаем видеть себя гражданами мира или европейцами, а не немцами».

«Немцы всё еще прикованы к своему прошлому, и это сильно влияет на то, как они относятся к Европе и к миру».

«Вплоть до сегодняшнего дня немецким детям приходится разбираться с тяжелыми картами, которые сдала им история».

«Для меня моя немецкость является гигантским грузом».

«Европейский кризис крайне мучителен для Германии, потому что этой стране удалось отступиться от себя путем ныряния в европейский проект. Развал этого проекта лишил бы немцев «бегства от себя».

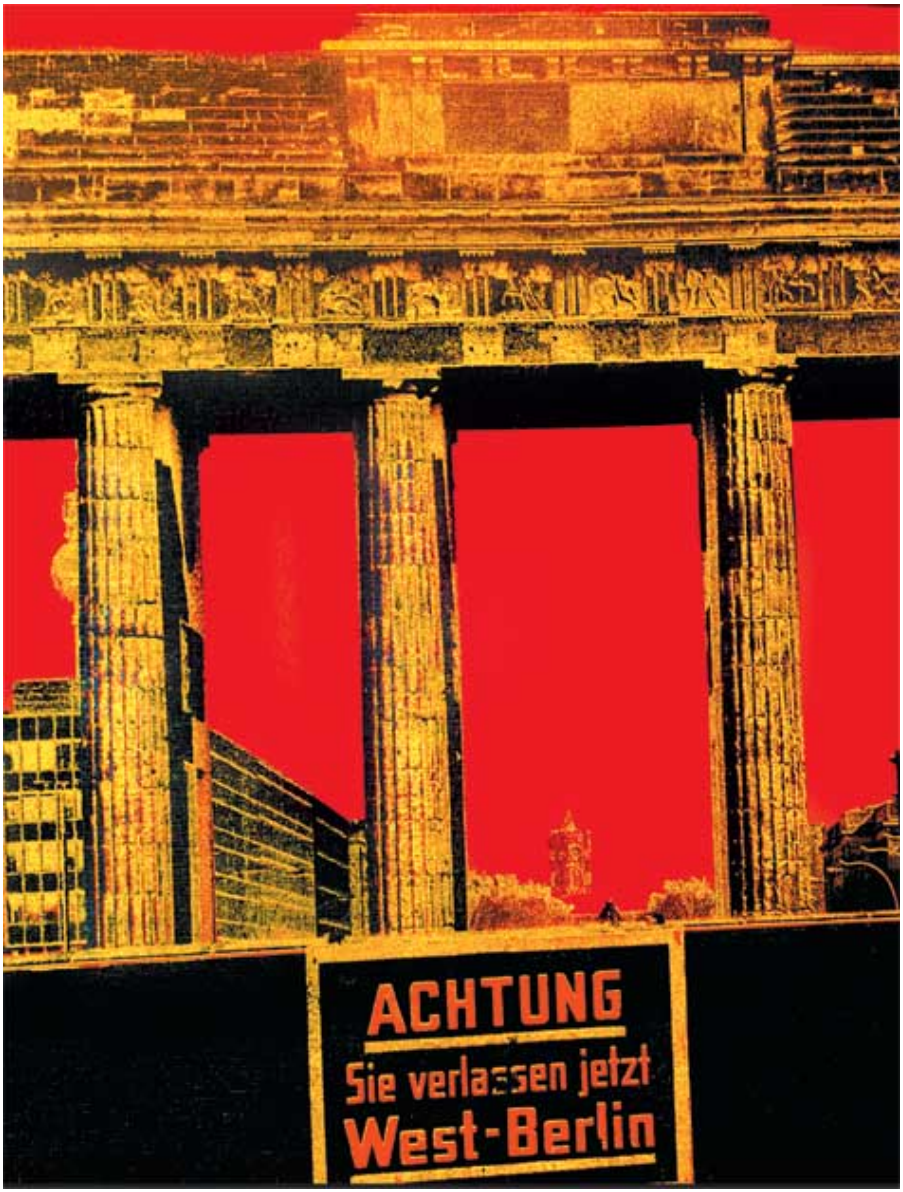
«Есть желание спрятать свою немецкость, маскироваться в мире, который не является космополитичным».

Слушая Шлинка, я всё время думал о том мучительном чувстве вины, которое так и не отступает и, собственно, объясняет то, что говорит Шлинк. Когда я начал снимать документальные ленты о разных странах, я придумал вопрос, который задавал абсолютно каждому, с кем встречался:

– Завершите, пожалуйста, следующее предложение: «Для меня быть (американцем, французом, итальянцем, немцем, израильтянином, англичанином, испанцем и т. д.) значит…»

В каждой стране хоть и отвечали по-разному, ни в одной не отрицали своей принадлежности к этой стране… кроме Германии. Не было ни одного человека, который бы ответил что-нибудь вроде «принадлежать к великой культуре», «гордиться своими достижениями в науке и философии» и так далее. В значительном большинстве случаев отвечали: «быть европейцем», «быть человеком мира». Быть немцем не хотел никто. Чувство вины. Чувство стыда.

И я спросил себя: а как бы завершил это предложение русский? Задался и задаюсь этим вопросом, потому что русским есть за что повиниться, есть чего стыдиться в XX веке – как и немцам. Правда, есть одна существенная разница. Немцы не то что покаялись (хотя и это тоже), они разобрались с нацизмом, с Гитлером и, что важно, не дают себе успокоиться, забыть. Русские так и не разобрались ни со Сталиным, ни с советским строем (и, конечно, не покаялись). Как мне представляется, это породило уродливый комплекс самоненависти и самовосхищения. Я всегда поражаюсь типичному для многих россиян высказыванию, звучащему примерно так: «Летом отдыхал в потрясающем месте, там не было ни одного русского!» – такого не услышишь ни в одной другой стране.


ACHTUNG
Sie verlassen jetzt
West-Berlin

Стена

В ночь на 13 августа 1961 года в Берлине были перекрыты более 130 улиц и дорог, восемь линий городской электрички, четыре ветки метро. Были заварены водопроводные и газовые трубы, перерезаны электрические и телефонные кабеля.

Так началось строительство Берлинской стены.

В городе стена была собрана из бетонных блоков, а за его пределами представляла собой металлическую сетку. Общая протяженность стены достигала 155 километров, высота ее была 3,6 метра, границу между ГДР и Западным Берлином охраняли более 11 тысяч пограничников.

Берлинская стена рухнула 9 ноября 1989 года. Она простояла всего 28 лет, но вошла в историю навсегда, как Великая Китайская стена, строительство которой началось в III веке до н. э.

Но Берлинская была и, насколько мне известно, остаётся единственной в своём роде, поскольку она была построена не целью с не впускать чужих, а с целью не выпускать. Собственных граждан. Она практически приравняла Германскую Демократическую Республику к тюрьме и её граждан к заключенным.

Граждане – не все, конечно, но очень многие, – настолько не хотели жить в собственной стране, что пришлось удерживать их силой. Это решение было публичным признанием поражения социализма (как называли этот строй в СССР и его сателлитах). С

этого момента мыслящий человек должен был прийти к выводу об обреченности этого строя.

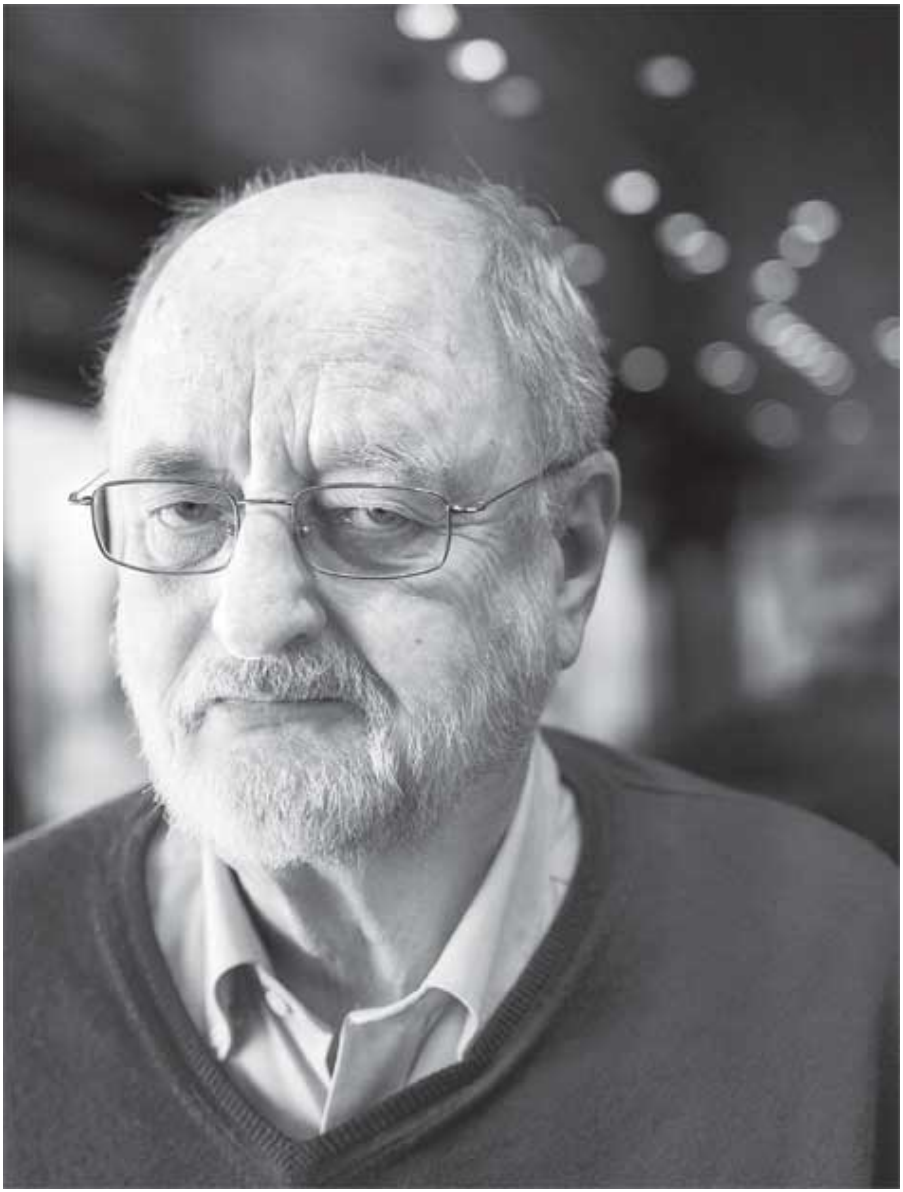
Возведение Берлинской стены на самом деле было капитуляцией так называемого социалистического строя, хотя лидеры этого строя как в Москве, так и в Берлине сами того не понимали. В этом есть что-то от древнегреческой трагедии, когда поступок, совершенный давным-давно, предопределяет трагическую развязку.

Может быть, кто-нибудь когда-нибудь напишет об этом пьесу?

Никлас Франк

Сын Ханса Франка, одного из самых страшных нацистских преступников, судимого в Нюрнберге и повешенного 16 октября 1946 года (стр.107).

Детей у этого монстра было пятеро: три сына и две дочери. К тому времени, когда я встретился с младшим, Никласом, остальных не было на свете. Старшая сестра, убежденная нацистка, уехала в ЮАР еще во времена апартеида, где и скончалась. Средняя покончила с собой, когда достигла возраста казни её отца – 46 лет. Два старших брата ушли из жизни тихо, никому не напомнив о том, чьими они были отпрысками. Чего нельзя сказать о Никласе: я застал его вполне живым (и насколько мне известно, он жив по сей день) и деятельным: еще в 1987 году он написал книгу о своем отце «Der Vater: Eine Abrechnung», название которой я перевел бы как «Сведение счетов». Книга наделала много шума из-за невероятной ненависти, с которой Никлас писал о своем отце, изображая его подлым, хитрым, трусливым, кровожадным мерзавцем.



Разговаривая с ним, я пытался не столько понять даже сколько почувствовать, что побудило его столь скрупулёзно, столь беспощадно показать миру собственного отца – давно осужденного, давно казненного. Как будто мало было Ньюрнберского процесса, тысяч страниц свидетельских показаний. Может быть, Никлас не мог простить своему отцу того, что тот… был его отцом? Может быть, это была попытка доказать всем и каждому, что он от отца отрекается и не просто осуждает, а проклинает? Кому он что доказывал?

Любопытно, говорят, что никто из детей Ганса Франка детей

не имел; будто они считали, что эта фамилия не должна получить продолжение.

Волей-неволей возникает параллель: я был знаком с отпрысками советских руководителей, которым, на мой взгляд, было место на скамье подсудимых: Берии, Хрущева, Маленкова, Молотова. Когда я спрашивал, как они относятся к своим отцам, получал ответ, будто сделанный под копирку:

– Он любил меня.

Фитце

Так этот человек у меня и записан в дневнике: Фитце. Просто Фитце. Без имени, хотя, конечно, имя у него было. Но я не записал его и… забыл.

Я попросил, чтобы мне дали возможность взять интервью у какого-нибудь бывшего партийного деятеля ГДР, вот и подсунули мне этого Фитце. Сказали, что он был высокопоставленным деятелем FDJ (Freie Deutsche Jugend), их варианта ВЛКСМ, а потом стал партийным начальником. Когда ГДР почил в бозе, товарищ Фитце не стал стреляться из-за идеологических соображений. Он вступил в одну из левых партий и, как мне сообщили, занимает там высокий пост. Судя по размерам кабинета, в котором о принимал меня, это была правда.

Произвел на меня омерзительное впечатление: в глаза не смотрел, был многословен, а на вопросы не отвечал.

– Давайте, товарищ Фитце, представим себе, что холодную войну проиграли не СССР и соцлагерь, а США с союзниками. Как вы думаете, удалось ли бы вам, бывшему партийному функционеру противника, так славно устроиться, как устроились вы сейчас?

Я понимал, что вопрос риторический, но мне хотелось увидеть выражение лица и глаз товарища Фитце, когда он сообразит, о чем речь. И ничего я не увидел. Фитце был хорошо обучен, на его лице не дрогнул ни один мускул; правда, если бы взглядом можно было убить, я стал бы трупом.

Чуть помедлив с ответом, Фитце сказал:

– Что ж, и мы имели право…

И как-то неопределенно помахал руками.

Я сразу вспомнил один из моих любимых советских

анекдотов о том, как в колхоз приезжает агитатор с лекцией о социалистической демократии. Отбарабанив её, он обращается к полусонной публике:

– Ну, что ж, товарищи, вопросы есть?

К своему неудовольствию, он видит, что какой-то мужик в последнем ряду поднял руку.

– Я слушаю.

– Скажите, пожалуйста, я имею право…

– Имеете, имеете, – перебивает его агитатор, не дождавшись окончания вопроса. Потом вновь спрашивает: – Еще есть вопросы?

Всё тот же человек из заднего ряда поднимает руку.

– Товарищ, я ответил на один ваш вопрос, но уж так и быть. Спрашивайте.

– Я хочу знать, я имею право…

Лектор его вновь перебивает:

– Я же сказал вам – имеете! Ну, еще есть вопросы?

Человек из последнего ряда вновь поднимает руку.

– Ну, товарищ, это уже слишком! Задавайте свой вопрос!

– Я хочу знать, я могу…

– Нет, не можете!

Трудно точнее передать суть так называемой социалистической демократии: имеете право, но не можете.

Йорг Метке

Говорил с ним, известным в Германии журналистом, о свободе печати. В какой-то момент, желая подчеркнуть преимущество Германии в этом вопросе, я сказал:

– Но у вас всё же демократическое государство!

На что Метке ответил:

– Да… у нас демократия. При хорошей погоде. А что будет, если погода испортится, судить не берусь.

И усмехнулся.

Сколько лет прошло, но я не могу забыть ни выражения его глаз, ни чуть ироничной улыбки, ни самого определения: Демократия при хорошей погоде.

Бригитте Циприс

Если вы наберете её фамилию в Гугле, то убедитесь в том, что она весьма и весьма активная и влиятельная персона. Я хотел бы обратить ваше внимание лишь на один предложенный ею законопроект – это было в 2005 году, который стал федеральным законом. Он устанавливает некоторые ограничения прав неонацистов на политические и общественные акции. В частности, он запрещает ультраправым проводить демонстрации в «исторически чувствительных местах». Такими, как разъясняет закон, являются памятники жертвам Холокоста и национал-социалистического режима, музеи на территории бывших концлагерей и сооружения, которые были культовыми для нацистов во время Третьего рейха, например бывшее здание Рейхминистерства авиации и Бранденбургские ворота в Берлине. Но это не всё. Закон предлагает властям каждой из 16 федеральных земель Германии самостоятельно определить прочие запретные зоны для ультраправых.

А как же демократия? Как же свобода слова? Как же право на митинги и демонстрации? А вот так. Демократии сколько угодно. Говорите что хотите. Митингуйте, выходите на демонстрации, но… соблюдая некоторые правила, потому что демократия предполагает в обязательном порядке, что исполнение ваших прав не может наносить ущерб правам других.

В 20-х или 30-х годах прошлого века один из самых выдающихся членов Верховного суда США, Оливер Уэнделл Холмс-младший, высказался в том духе, что человек не имеет право кричать «Пожар!!!» в битком набитом кинотеатре только

потому, что ему хочется. В данном случае его право говорить, что он хочет, уступает праву других на безопасность.

Момент это тонкий.

Помню, как мой друг, человек придумавший телевизионный жанр “talk show”, Фил Донахью, не соглашался с моим утверждением, что надо было запретить книгу Гитлера «Майн кампф».

– Нет, – говорил Фил, – надо, чтобы все смогли прочитать книгу, чтобы при ярком солнечном освещении всем стало видно и понятно, что там написано. Запрет только возбуждает интерес.

– Ну да, – отвечал я, – книгу опубликовали, и люди разобрались в ней при ярком солнечном свете, но только ценой пятидесяти миллионов жизней и жутких ужасов.

Я остался при своем мнении, а Фил при своем.

Предполагает ли демократия вседозволенность? Конечно, нет. Но весь вопрос в том, какие возможны ограничения, при которых демократия остаётся демократией, а не фикцией? Мне кажется, что нет рецепта, нет незыблемых правил.

Права была госпожа Циприс, добиваясь принятия закона, который запрещает неонацистам устраивать демонстрации около памятников жертвам нацизма? Да, на мой взгляд, была. А если бы она предложила принять закон, вообще запрещающий ультраправым проводить демонстрации, она была бы права? Это не было бы нарушением демократии?

Но ведь сами ультраправые, приди они к власти, отменят все демократические права, ведь так? А придут они к власти, используя демократию. Значит, их надо запретить, правда?

Конечно, правда… Но как быть с их демократическими правами?

Ханс Бьерке

Она резко встала и вышла из комнаты на веранду. Там открыла сумочку, достала сигарету и закурила.

Я вышел одновременно с ней, постоял рядом, потом спросил:

– Что, тяжело?

Она посмотрела на меня… нет, не с ненавистью, но с чем-то близким этому чувству. С неприязнью, враждебно. Сжала аристократические губы (её аристократичность просто бросалась в глаза – в движениях, во взгляде, в фигуре, в тонких щиколотках и длинных, выразительных пальцах) и почти выплюнула:

– Хватит! Обрыдло! Сколько можно?!

Из комнаты, откуда мы только что вышли, было слышно, как кто-то рассказывает о нацистских концлагерях, о зверствах, там творимых. Шел просмотр видеоленты, было это в Переделкино в доме у моих друзей-киношников, которые пригласили меня на обед с «немецкими гостями». Замечу, что меня часто приглашают на такие обеды/ужины, считая, видимо, что мое иностранное происхождение и умение говорить на «их языке», как в буквальном, так и в переносном смысле, должно позитивно подействовать на них, расслабить и успокоить их напряженные русской действительностью нервы.

В данном случае приглашен был господин Ханс Бьерке с супругой в надежде, что он, крупнейший деятель кино и телевидения, примет финансовое участие в предлагаемом моими друзьями проекте кинофильма. Именно с этой целью были устроены обед и последовавший за ним просмотр, с которого минут через десять после его начала сбежала супруга господина Бьерке Александра.

То, что сотворил Гитлер сотоварищи и при полнейшей, чтобы не сказать восторженной, поддержке немецкого народа, лично для меня представляет собой самое тяжелое преступление в истории человечества. И дело не только – и даже не столько – в количестве убитых и замученных людей, сколько в идеологической подоплеке происходившего. Этому нет прощения. И это нельзя предать забвению.

Надо отдать должное немецкой общественности, которая настойчиво и, можно сказать, с немецкой педантичностью и основательностью делает всё возможное, чтобы память об этом преступлении не исчезла. О ней напоминают на каждом шагу: например, в том районе, в котором живет моя дочь, в Шёнеберге, то и дело на улицах попадаются небольшие щиты с указами гитлеровского времени: «Евреям вход в парк запрещен», «Евреям

собираться группами запрещено», ну и так далее. Детям, родившимся через несколько десятилетий после гибели Третьего рейха, напоминают о нем на уроках истории. Когда я спросил своего внука, что ему и его одноклассникам говорят о гитлеризме (ему было лет 10), он ответил: «Знаешь, говорят, что виноват был не только Гитлер, не только нацисты, что виноват был немецкий народ, который поддержал Гитлера и нацистов». Да, я в курсе того, что несколько ранее я уже обращал ваше внимание на этот факт. Понимаю и то, что с точки зрения редактуры повторы излишни. Но я нарушу правила редактуры и повторюсь, потому что считаю сказанное бесконечно важным.

Я тогда мысленно снял шляпу перед немцами, перед немецкой школой. Ведь как просто было бы сказать: «Да, был злодей Гитлер, были злодеи нацисты, они были преступниками, они причинили миру, в том числе нашей любимой Германии, тяжелые страдания, за что и поплатились. Но это всё в прошлом, с этим покончено». Но нет, не ограничились этим: виноват немецкий народ. И тогда легко ответить на некоторые трудные вопросы:

– Разве может народ ошибаться?

– Да, может.

– Разве может народ совершать преступление?

– Да, может.

– Разве народ может бы виноватым?

– Да, может.

– А как понимать выражение «Глас народа – глас Божий»?

– Пожалуй, лучше не задумываться над этим…

Я всё жду, когда в России честно и во весь голос скажут, что Сталин был преступником, что большевики в разных своих ипостасях были преступниками, что они были виноваты в свершении тяжелейших преступлений, которые отбросили Россию на много десятилетий, но что виноваты в этом не только они, виноват в этом и русский народ, который восторженно поддерживал и самого Сталина, и созданную им систему. Я уверен, что когда-нибудь это случится, но дождусь ли?

Вернемся к нашим баранам, то бишь в Переделкино и к господину Бьерке с супругой.

– Хватит! Обрыдло! Сколько можно?! – с ненавистью, сдавленным голосом сказала она.

– Вы о чем? – спросил я, прекрасно понимая, о чем она.

– О чем?! О бесконечном раскаянии, о всеобщем осуждении, о Гитлере, о нацизме, ну, хватит, всё сказано, мы всё признали, мы посыпали головы пеплом, мы съели тонну дерьма, мы вывалились публично перед всеми во всех вонючих лужах, какие есть и каких нет, и мне хватит, по самое горло хватит, не хочу больше слушать эту песню и не буду слушать её, понимаете, не буду!!!

Было видно, что она страдает. И я испытывал от этого удовольствие. Мне страшно хотелось спросить, что делали ваш папа, ваш дедушка в те, уж не столь далёкие, годы? Где служили? Какие подвиги совершали во славу Третьего рейха? Скольких евреев убили, чтобы избавить мир от недочеловеков? С каким рвением выбрасывали правую руку, приветствуя вождя, и с каким восторгом пели «Deutschland, Deutschland über Alles»? Но не спросил. Я даже не спросил её о том, как получилось так, что её муж, такой успешный и богатый деятель киноиндустрии, член совета директоров нескольких крупнейших компаний, родился не в Германии, а в Аргентине? Не потому ли, что его отец оказался среди тех высокопоставленных нацистов, которым удалось ускользнуть от рук правосудия и бежать в Латинскую Америку, где их ожидал тёплый прием под крылом сочувствовавших им местных полуфашиствующих диктаторов? Хотел спросить, да не спросил. Но когда кончился просмотр и мы, расположившись на террасе, пили чай, я сказал о том, что собираюсь снимать документальный фильм о Германии и очень хотел бы взять у них интервью, когда буду в Баварии (то, что живут они под

Мюнхеном, было для меня абсолютно ожидаемым фактом).

Она посмотрела на меня с неприязнью, подняла руку, как бы отталкивая мое предложение, но господин Бьерке широко улыбнулся и радушно – даже слишком – сказал, что да, конечно, это будет замечательно, обязательно, только дайте знать заранее.

Встреча состоялась. На широком, безупречно ухоженном газоне, окруженном не менее безупречно ухоженными деревьями, в лучах заходящего баварского солнца, они сидели на двух стульях, он и она, и отвечали на мои вопросы. Наша киногруппа довольно долго плутала в поисках их особняка, расположенного километров в 20 от Мюнхена, опоздали мы примерно на час и были встречены хозяйкой словами о том, что интервью вряд ли состоится, у них нет времени, ждут гостей. Но господин Бьерке, вновь взяв на себя роль «доброго полицейского», сказал, что нет, ничего страшного, время найдется, мы ни в чем не виноваты, заблудились, что ж, с кем не бывает.

Интервью состоялось, и его супруга упорно давала мне понять, что терпеть нас не может, меня в первую голову, а он делал вид, что наш приезд доставляет ему исключительное удовольствие. И она со всей своей откровенной неприязнью была мне несравненно симпатичней и интересней, чем он. Во время интервью она говорила то, что думала, – прямо, жестко, не выбирая выражений. И по поводу раскаяния, и по поводу турок, заполонивших Германию, и по поводу иммигрантов. А он смотрел на неё почти просяще и необыкновенно внимательно, порой вставляя поправки и смягчая её суждения.

Но победила она. Потому что интервью все-таки не состоялось: мы приехали слишком поздно, быстро садящееся солнце не давало того освещения, которое было необходимо для качественной съёмки, а своего света с собой почему-то в этот день не взяли. Так что всё, что было, я рассказал по памяти.

Не так давно я узнал, что Ханс Бьерке покончил с собой. Застрелился.

* * *

Ну, вот и закончил.

Перечитал всё и задался вопросом: то, что я написал, – объективно? В нем нет враждебности к немцам, к Германии? Я смог преодолеть свои пристрастия?

Вдруг возник вопрос: а для кого я писал, – для вас или для себя?

Ей-богу, не знаю.

notes

Примечания

1

Чекпойнт Чарли (англ. Checkpoint Charlie) – американский контрольно-пропускной пункт на границе Восточного и Западного Берлина. – *Прим. авт.*

2

На самом деле никакими руководителями они не стали. Более того, их советское «происхождение» сыграло с ними злую шутку, говорили, что они – не настоящие немцы, а дети тех, кто бежал от Гитлера вместо того, чтобы бороться с ним. – *Прим. авт.*